



ВХОДИТ В TOP-100 РОМАНОВ XX ВЕКА
Впервые на русском языке!

Барбара Кингсолвер

**БИБЛИЯ
ЯДОНОСНОГО ДЕРЕВА**

**«ПРОСТИ МЕНЯ, АФРИКА, ПО ВЕЛИКОЙ
МИЛОСТИ ТВОЕЙ И ПО МНОЖЕСТВУ
ЩЕДРОТ ТВОИХ»**

Барбара Кингсолвер
Библия ядоносного дерева
Серия «Литературные
сокровища XX века»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=61655301

Б. Кингсолвер. Библия ядоносного дерева: ООО «Издательство АСТ»;

Москва; 2020

ISBN 978-5-17-121466-1

Аннотация

Барбара Кингсолвер (р. 1955) – выдающийся американский прозаик, поэт и эссеист, лауреат множества международных и национальных премий. Практически все ее книги мгновенно попадают в списки бестселлеров, а главное ее произведение – великий роман «Библия ядоносного дерева» – входит в топ-100 сайта Goodreads и изучается в колледжах и университетах. Фанатичный миссионер Натан Прайс вместе с женой и дочерьми покидает благополучную цивилизованную Америку и отправляется на Черный континент, в джунгли Бельгийского Конго, с твердой верой в Бога и с надеждой на то, что Господь поможет ему обратить местных жителей в христианство. Он проповедует яростно и страстно, но местные жители вовсе не жаждут принять благодатные дары. Они трепетно берегут

свои святыни, чтут традиции предков и продолжают совершать свои дикие, порой бесчеловечные обряды. Но и в собственной семье Натана Прайса назревает бунт: домочадцы оказались не готовы к тяготам быта глухой африканской деревни. Все кажется им чуждым и пугающим – зловещие мрачные джунгли, где на каждом шагу подстерегает смерть; люди, встречающие их угрюмым молчанием, и даже сам Натан Прайс с его фанатичной, не знающей жалости верой...

Содержание

От автора	6
Книга первая. Бытие	9
Книга вторая. Откровение	124
Конец ознакомительного фрагмента.	185

Барбара Кингсолвер

Библия ядоносного дерева

Barbara Kingsolver
The Poisonwood Bible

© Barbara Kingsolver, 1998

© Перевод. И. Дорони́на, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

* * *

Посвящается Фрэнсис

От автора

Это повествование – роман. Все его основные персонажи вымышлены и, насколько мне известно, не имеют фактических прототипов. Но Конго, страна, в которую я их поместила, подлинна. Исторические фигуры и события, здесь описанные, реальны во всем их поразительном разнообразии настолько, насколько я сумела воспроизвести их с помощью документов.

Во время подготовительных изысканий и в процессе написания романа доступ в Заир был для меня закрыт, и я полагалась на память, на впечатления от путешествий по другим регионам Африки, на свидетельства людей о естественной, культурной и социальной истории Конго-Заира. Богатство и ценность этих источников – для меня, для любого читателя, который, вероятно, захочет узнать больше о фактах, на каких зиждется вымысел, – таковы, что я процитировала многие из них в библиографическом разделе в конце книги. Наиболее полезным среди них было описание постколониальной истории Заира Джонатаном Куитни в его превосходной книге «Бесконечные враги», она и стала пружиной написания романа на ту же тему. Я постоянно возвращалась к тексту, чтобы представить полную картину и бесчисленное множество мелких деталей, помогающих проникнуть в самую суть. Почерпнула я и самые разные полезные рекомендации из

классического текста Дженхайнц Джэн «Мунту: новая африканская культура»; из романа Чинуа Ачебе «Все рушится»; из книги Алана П. Мерриам «Конго: история конфликта», а также из документального повествования Дж. Хайнца и Х. Доннея «Лумумба: последние пятьдесят дней». Я не смогла бы написать эту книгу без двух важных источников литературного вдохновения, приблизительно равных по размеру: киконго-французского словаря и Библии короля Якова.

Опиралась я также на помощь своих энергичных друзей, кое-кто из них, вероятно, боялся испустить дух прежде, чем я закончу громоздить перед ними новые версии огромного манускрипта. Стивен Хопп, Эмма Хардести, Френсис Голдин, Терри Картен, Сидель Креймер и Лиллиан Лент читали мои многочисленные черновики и делились со мной бесценными комментариями. Эмма Хардести проявила чудеса товарищеского такта, дружелюбия и эффективности, что позволило мне без помех заниматься писательским трудом. Энн Маирс и Эрик Питерсон помогали разобраться в грамматике киконго и конголезской жизни. Джим Малуза и Соня Норманн подарили мне свои идеи для окончательного отбора материала. Кейт Теркингтон поддерживала меня из Южной Африки. Мумиа Абу-Джамал читал рукопись и разбирал ее в тюрьме. Я благодарна ему за понимание и отвагу.

Особая благодарность Вирджинии и Уэнделлу Кингсолверам за то, что они ни в чем не были похожи на родите-

лей, каких я создала для этой книги в своем воображении. Мне повезло быть дочерью врачей, работников здравоохранения, которых сострадание и любознательность привели в Конго. Они привезли меня в эту страну чудес, научили наблюдательности и рано поставили на путь освоения великого, постоянно меняющегося пространства между справедливостью и правом.

Почти тридцать лет я ждала, когда придут мудрость и зрелость, чтобы написать эту книгу. То, что теперь я ее сочинила, не свидетельствует об обретении ни того, ни другого, а стало возможным лишь благодаря бесконечной поддержке, безусловной вере, успокаивающим беседам и кипам справочников по обрядам и заговорам, доставлявшимися как нельзя вовремя моим замечательным мужем. Спасибо тебе, Стивен, за то, что показал мне: незачем ждать того, что только представляется далеким, и научил верить в то, что бывает полезно рискнуть.

Книга первая. Бытие

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями] и над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

Бытие 1:28

Орлеанна Прайс

Остров Сандерлинг, Джорджия

Представьте гиблое место, настолько странное, что в него невозможно поверить. Вообразите лес. Я хочу, чтобы вы стали его сознанием, глазами, прячущимися в листве деревьев. Эти деревья – столпы с гладкой пятнистой корой – напоминают мускулистых животных, выросших сверх всякой меры. Каждый клочок пространства наполнен жизнью: нежные ядовитые лягушки, воинственно разрисованные под скелеты, сцепившиеся в акте спаривания, прячущие бесценную икру на сочащихся влагой листьях. Лианы, сплетающиеся со своими родичами и тянущиеся вверх в вечной борьбе за солнечный свет. Дыхание обезьян. Змеиный живот, скользкий по ветке. Вереница выстроившихся в цепочку муравьев, обгладывающих секвойю однородными гранулами, которые они тащат вниз, в темноту, своей алчной короле-

ве. А навстречу им – поднимающиеся из гнилых древесных пней кущи выгибающей шеи молодой поросли, высасывающей жизнь из смерти. Этот лес пожирает сам себя и живет вечно.

Внизу, в сторонке, ниткой тянется тропинка, по ней гуськом идут женщина и четыре девочки, все – в отрезных платьях. Отсюда, сверху, они видятся бледными, обреченными бутонами, вызывающими жалость. Однако не торопитесь. Позднее вам придется решить, какой жалости они заслуживают. Особенно мать – посмотрите, как она, целеустремленная, с тусклым взором, ведет их. Темные волосы связаны рваным кружевным платочком, выдающиеся скулы подсвечены серьгами с крупными искусственными жемчужинами, словно фонариками из иного мира, указывающими дорогу. Дочери следуют за ней – четыре девочки с напряженными, как натянутая тетива, телами, каждая готова выпустить стрелу женского сердца в свою мишень, будь то слава или вечные муки. Даже сейчас, стесненные, словно котята в мешке, они избегают близости: две блондинки – одна маленькая и суровая, другая высокая и надменная, – подпираемые спереди и сзади схожими друг с другом брюнетками; близняшка, идущая первой, нетерпеливо стремится вперед; та, что замыкает шествие, ритмично прихрамывая, едва волочит ноги по земле. Однако они весьма храбро все вместе перебираются через гнилые деревья, повалившиеся поперек тропы. Мать, ведущая процессию, взмахивает изящной рукой, раздвигая

занавеси паучьей паутины. Впечатление такое, будто она дирижирует оркестром. Занавеси за их спинами снова смыкаются. Пауки возвращаются к своей убийственной деятельности.

На берегу речушки мать устраивает жалкий пикник, состоящий лишь из волглого крошащегося хлеба с тонкими ломтиками плантана ¹, посыпанного толченым арахисом. Спустя месяцы умеренного голодания дети перестали жаловаться на пищу. Они молча проглатывают еду, стряхивают крошки и бредут вдоль быстротекущей реки к заводи, чтобы поплавать в прохладной воде. Мать остается одна под сводом гигантских деревьев на берегу. Это место знакомо ей теперь, как гостиная дома в той жизни, которой она не просила. Мать отдыхает, не сказать чтобы безмятежно, в тишине, наблюдая за копошением темных муравьев над крошками их, мягко говоря, скудного обеда. Всегда найдется кто-нибудь еще более голодный, чем твои собственные дети. Подоткнув под себя платье, она разглядывает свои худые голые ступни, покоящиеся в травяном гнезде у кромки воды, словно неоперенные птенцы-двойняшки, не способные подняться в воздух и улететь от беды, которая – она мать чувствует – уже надвигается. Она может потерять все: себя или, еще хуже, детей. А самое страшное – ее, свой единственный секрет. Свою любимицу. Как тогда жить матери с этим чувством

¹ Крупные овощные бананы, которые перед употреблением в пищу требуют термической обработки. – *Здесь и далее примеч. пер.*

вины?

Ей невыносимо одиноко. А потом – уже нет. Прекрасное животное стоит на противоположном берегу реки. Они смотрят друг на друга, каждый из своей жизни – женщина и животное, – удивляясь тому, что оказались в одном месте. Животное, замерев, прислушивается к ней, поводя ушами с черными кончиками. Спина у него в тусклом свете лилово-коричневая, она как бы плавно стекает вниз от покато го горбика плеч. Лесные тени падают на бело-полосатые бока. Передние ноги широко расставлены, как ходули, потому что она застала его в момент, когда он собирался склониться к воде. Не отводя от нее взгляда, он слегка дергает коленом, потом плечом, которое терзает муха. Наконец, преодолев любопытство, опускает голову и начинает пить. Мать почти физически ощущает прикосновение его длинного, сворачивающегося колечком языка к поверхности воды, будто он пьет из ее ладони. Его голова чуть-чуть покачивается, кивая маленькими бархатными рожками, подсвеченными снизу белым, как изнанка молодых листьев.

Это – что бы оно ни было – длилось всего лишь мгновение. Затаенное дыхание? Муравьиный полдень? Короткий миг, могу вас в этом заверить, потому что, хотя прошло много лет с тех пор, как моей жизнью управляли дети, мать всегда помнит меру тишины. У меня никогда не было больше пяти минут непрерывного покоя. Той женщиной на берегу реки была, конечно, я. Орлеанна Прайс, южанка, баптистка

в замужестве, мать детей, живых и умерших. То был единственный раз, когда окапи подошел к реке, и я оказалась единственной, кто видел его, – больше никогда.

Его название я узнала через несколько лет в Атланте, когда недолго пыталась посвятить себя Богу, сидя в публичной библиотеке и свято веря, что все трещины моей души могут быть залечены с помощью книг. Тогда я прочитала, что самец окапи меньше размерами, чем самка, и более робок, и больше о них почти ничего неизвестно. Веками люди в долине реки Конго рассказывали об этом красивом, странном животном. Когда европейские первооткрыватели прослышали о нем, они объявили его легендарным единорогом. Еще один миф загадочной страны губ, проткнутых костями, и стрел с отравленными наконечниками. Позднее, в двадцатые годы, когда в других местах человечество в перерыве между двумя войнами совершенствовало аэропланы и автомобили, белый человек наконец обратил свой взор на окапи. Так и вижу, как он следит за ним через прицел своего ружья и, наведя на него перекрестье, обретает в личное владение. Целое семейство этих животных обитает ныне в нью-йоркском Музее естественной истории – мертвых, набитых ватой, с холодными стеклянными глазами. И теперь окапи, с научной точки зрения, – реальное животное. Просто животное, не легенда. Разновидность лошадеподобной газели из семейства жирафовых.

Но я-то лучше знаю, и вы тоже. Эти музейные, с остекле-

невшим взглядом, не имеют ничего общего с тобой, мое не пойманное любимое дитя, дикое, как всякий лесной зверь. Твои блестящие глаза неотрывно устремлены на меня, ими на меня смотрят живые и мертвые. Займи же свое место. Посмотри на то, что произошло, со всех сторон и представь, как все могло бы сложиться по-иному. Представь даже, что Африка осталась непокоренной. Вообрази, как те первые португальские искатели приключений приближаются к берегу, осматривают кромку джунглей в свои старинные медные телескопы. И представь, что каким-то чудом – из страха или почтительности – они опускают подзорные трубы, разворачиваются, снова поднимают паруса и плывут мимо. Представь, что все, кто приплывает позднее, делают то же самое. Какой была бы теперь Африка? Единственное, что возникает в воображении, это другой окапи – тот, в кого верили раньше. Единорог, умеющий смотреть прямо в глаза.

В 1960 году от Рождества Христова обезьяна промчалась по космосу в американской ракете; молодой Кеннеди выбил стул из-под почтенного генерала, которого называли Айком; и весь мир повернулся на оси под названием Конго. Обезьяна пронеслась прямо над нашими головами, а на земном уровне люди, запершись в кабинетах, торговались за конголезское сокровище. А я находилась там. Прямо на острие этой булавки.

Меня вынесло туда стремниной веры моего мужа и под-

водным течением нужд дочерей. Так я оправдываюсь, хотя ни одна из них особо во мне не нуждалась. Моя старшая и моя самая маленькая, обе, с самого начала старались сбросить меня, как шелуху, а близняшки уже родились с тем взглядом, какой позволял им просто смотреть мимо меня на более интересные вещи. А мой муж... о, никакой ад не сравнится яростью с баптистским проповедником. Я вышла замуж за мужчину, который, вероятно, никогда меня не любил. Это было бы посягательством на его преданность всему роду людскому. Я оставалась женой постольку, поскольку это было единственное, что я умела делать ежедневно. Дочери порой говорили: мама, у тебя нет собственной жизни.

Они ничего не понимали. У человека есть только его собственная жизнь.

Я видела такое, о чем они никогда не узнают. Я видела семейство ткачиков, они месяцами вместе вили гнездо, превратив его в чудовищное нагромождение веток, заполненное их потомством, под тяжестью которого дерево в конце концов рухнуло. Я не рассказывала об этом ни мужу, ни детям. У меня есть собственная история жизни, и с годами она все больше и больше давит на меня. Теперь, когда каждая перемена погоды отзывается в моих костях грызущей болью, я верчусь в постели, и воспоминания роятся вокруг меня, словно жужжащие мухи над трупом. Мечтаю избавиться от них, но ловлю себя на том, что проявляю осторожность, выбирая, какие из них все же можно выпустить на свет. Я хочу,

чтобы ты признала меня невиновной. И так же, как прежде, меня тянет к твоему больше не существующему маленькому тельцу, я желаю, чтобы ты перестала по ночам гладить мои невидимые руки кончиками пальцев. Перестань шептать. Я буду жить или умру в зависимости от того, как ты рассудишь, но прежде дай мне поведать, кто я. Позволь объяснить, что с Африкой мы какое-то время водили дружбу, а затем наши дороги разошлись, будто мы состояли в отношениях, не имевших шанса на благополучный исход. Или можно сказать, что я была заражена Африкой, словно редкой болезнью, от которой мне так и не удалось окончательно исцелиться. Я даже готова признать, что прибыла туда со всадником апокалипсиса на белом коне и предвидела катастрофу, но все же настаиваю, что была лишь плененной свидетельницей. Кто есть жена завоевателя, если сама не пленница? Тогда кто же он? Когда он является, чтобы покорить первозданные племена, думаете, они с радостью падают ниц перед этими небесного цвета глазами? И вожделенно жаждут перемен, которые несут эти кони и ружья? Именно так мы огрызаемся на вопросы истории. Не только я; каких только преступлений не творилось, а мне нужно было кормить голодные рты. Я ничего не знала. У меня не было собственной жизни.

Вы скажете – была. Мол, я ходила по Африке без оков на запястьях, и теперь я – одна из свободных душ в белой шкуре, с ожерельем краденого добра на шее: хлопок или бриллианты, самое меньшее – свобода и благоденствие. Кому-то

из нас известно, как мы приобрели свое богатство, кому-то – нет, но мы все равно носим его. Есть только один вопрос, который нужно теперь задать: как нам жить с этим?

Я знаю, что представляют собой люди с обычным складом ума. Большинство проплывают от колыбели до могилы с совестью, чистой, как снег. Легко указывать на других, сподручно для нас, уже покойных, начиная с тех, кто первым вычерпывал грязь с речных берегов, чтобы учуять запах истока. Полагаю, что и доктор Ливингстон был мошенником! Он и все те, кто впоследствии бросил Африку, как муж бросает жену, оставляя ее обнаженное тело свернувшимся вокруг опустошенного рудника ее матки. Я знаю людей. Большинство из них и понятия не имеют о мирской цене белоснежной совести.

И я бы ничем от них не отличалась, если бы не заплатила свою цену кровью. Я бездумно шагнула в Африку прямо из нашей семейной святости, и это было началом нашего ужасного конца. А между ними, полагаю, посреди тех душных влажных ночей и дней, окрашенных в темные тона и пахнущих землей, находится сама суть честного знания. Порой я почти ухватываю ее. Если бы могла, швырнула бы ее в лицо другим, рискуя взорвать их безмятежность. Я бы скинула со своих плеч эту жуткую ношу, растоптала ее, обрисовала бы наши преступления как схему проигранного сражения и сунула бы под нос соседям, которые уже опасаются меня. Но Африка скользит у меня в руках, отказываясь участвовать

в неудавшихся отношениях. Отказываясь вообще быть каким-либо другим местом или чем-то, кроме себя самой: звёриным царством, использующим свой шанс в царстве славы. Такие вот дела. Займи свое место и не оставляй старому одержимому нетопырю ничего, что нарушило бы мир. Ничего, кроме собственной жизни.

Нашей целью было не более чем получить власть над всеми существами, передвигающимися по земле. И так случилось, что мы вступили на землю, которую считали неразвитаой, такой, где лишь тьма скользит по поверхности вод. Теперь вы смеетесь день и ночь, обгладывая мои кости. А что еще мы могли думать? Только то, что эта земля начинается и заканчивается нами. И что мы знаем, даже теперь? Спросите у детей. Посмотрите, кем они выросли. Мы способны говорить лишь о вещах, которые принесли с собой, и о вещах, какие унесем с собой.

То, что мы привезли

Киланга, 1959

Лия Прайс

Мы уезжали из Вифлеема, штат Джорджия, и везли с собой в джунгли сухую смесь для тортов «Бетти Крокер». Мои сестры и я собирались каждая отпраздновать там свои дни рождения за те двенадцать месяцев, которые должна была продлиться миссия.

– Бог его знает, – сказала наша мама, – есть ли в Конго

«Бетти Крокер».

– Там, куда мы едем, вообще не будет ни покупателей, ни продавцов, – уточнил отец.

Его тон подразумевал, что мама не понимает сути нашей миссии и озабоченность сухой смесью «Бетти Крокер» делает ее союзницей корыстных грешников, возмущавших Иисуса, пока он не рассердился и не выкинул их из храма.

– Там, куда мы едем, – добавил он, чтобы расставить все точки над «i», – даже «Пигли-Вигли»² нет.

Очевидно, что в отцовских глазах это свидетельствовало в пользу Конго. Когда я попробовала представить это, у меня кожа покрылась мурашками.

Конечно, мама не решилась бы ему перечить и, как только поняла, что назад дороги нет, стала складывать в свободной спальне житейские вещи, которые, как считала, понадобятся нам в Конго, чтобы перебиться.

– Это самый минимум, для моих детей, – тихо объясняла она с утра до вечера. Вдобавок к сухой смеси мама положила дюжину банок пряной ветчины «Андервуд»; ручное зеркало Рахили в пластмассовой оправе цвета слоновой кости, с дамами в напудренных париках на тыльной стороне; наперсток из нержавеющей стали; хорошие ножницы; дюжину карандашей № 2; кучу лейкопластырей, таблетки анацина, абсорбина и термометр.

² Сеть небольших продовольственных лавок с самообслуживанием и автоматами.

И вот мы здесь, со всеми этими цветастыми сокровищами, благополучно привезенными и сложенными до востребования. Наши запасы пока не тронуты, если не считать анацина, который приняла мама, и наперстка – его Руфь-Майя уронила в дыру выгребной ямы. Но припасы, привезенные из дому, уже стали напоминанием о мире, оставшемся в прошлом: здесь, в нашем конголезском доме, на фоне остальных вещей, имеющих преимущественно землисто-бурый цвет, они похожи на яркие остатки от празднества. Когда я смотрю на них в тусклом свете дождливого дня, ощущая, как Конго скрипит песком у меня на зубах, уже с трудом вспоминаю место, где подобные вещи были обыденными, – просто желтый карандаш, просто зеленый флакончик аспирина, один среди таких же зеленых бутылочек, стоящих на высокой полке.

Мама постаралась подумать обо всех непредвиденных обстоятельствах, включая голод и болезни. И отец в целом одобрил такую предусмотрительность, потому что только человеку Бог дарует способность предвидения. Она запаслась кучей антибиотиков с помощью нашего дедушки, доктора Бада Уортона, он страдает старческим слабоумием и любит голым выходить из дома, но кое-что делает идеально: выигрывает в шахматы и выписывает рецепты. Мы также привезли чугунную сковородку, десять брикетиков кулинарных дрожжей, фестонные ножницы, топор без топорщицы, складную армейскую лопату и много чего еще. Это был полный набор зол цивилизации, которые мы посчитали необходимым

взять с собой.

Ехать сюда даже с этим минимумом вещей было пыткой. Когда мы полагали, что полностью готовы, и назначили отъезд, выяснилось, что «Панамерикан эйрлайнз» разрешает перевоз через океан только сорока четырех фунтов груза. Сорок четыре фунта на каждого пассажира – и ни на унцию больше. Мы были потрясены этой дурной новостью! Кто бы мог подумать, что на современном реактивном транспорте устанавливают подобные ограничения? Когда мы сложили все наши шесть раз по сорок четыре фунта вместе, включая и квоту Руфи-Майи – к счастью, несмотря на то, что она маленькая, ее посчитали за отдельного пассажира, – получился перевес в шестьдесят один фунт. Отец прореагировал на наше отчаяние так, словно ничего иного от нас и не ожидал, и предоставил жене и дочерям выбирать, выразив лишь надежду, что мы помним о полевых лилиях³, которым не нужны ручные зеркала и таблетки аспирина.

– Зато полевым лилиям наверняка необходимы Библии и его поганая армейская лопатка, – пробормотала Рахиль, глядя, как ее любимые туалетные принадлежности извлекают из чемодана. Рахиль не ухватывает суть Писания.

Однако при всем уважении к полевым лилиям и даже без косметических средств Рахили наши сокращения не приблизили нас к цели. Мы оказались в тупике. А потом – ал-

³ Аллюзия на цитату из Евангелия от Матфея (6:28): «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут».

лилуйя! В самый последний момент пришло спасение. По недомыслию (или, вероятно, если подумать, из простой вежливости) самих пассажиров не взвешивают. На это нам намекнули в Лиге Южной баптистской миссии, ничего не говоря прямо и не предлагая нарушить закон о сорока четырех фунтах, но этого было достаточно, чтобы мы выработали план. Мы полетим в Африку, нацепив лишний багаж на себя, под одежду. Хотя мы и так уже надели одни платья на другие. Мы с сестрами вышли из дому, имея на себе по шесть пар панталон, по две нижние юбки и по два лифчика, несколько платьев, одно поверх другого, под ними – бриджи, и все это – под всепогодными пальто. (Судя по энциклопедии, там можно было ожидать дождей.) Другие вещи, инструменты, коробки с сухими смесями и так далее были рассованы по карманам, заткнуты за пояса, навешаны на нас, как лязгающие доспехи.

Желая произвести хорошее впечатление, лучшие платья мы надели сверху. На Рахили был ее зеленый льняной пасхальный костюм, которым она так гордилась; длинные светлые волосы зачесаны назад и перехвачены надо лбом широкой розовой эластичной лентой. Рахили пятнадцать лет, или, как она любит говорить, «скоро шестнадцать», и ее не интересует ничто, кроме внешности. Ее полное имя, данное при крещении, Рахиль Ревекка, и она считает себя в некотором роде той Ревеккой, девственницей у колодца, которая, согласно Книге Бытия, была «очень хороша видом», и ей в

качестве свадебных подарков преподнесли золотые серьги, когда слуга Авраама увидел ее, идущую за водой. (Поскольку сестра на год старше меня, она утверждает, что к младшей сестре библейской Лии – бедной Рахили, которой пришлось так долго ждать замужества, не имеет никакого отношения.) Сидя в самолете рядом со мной, Рахиль все время хлопала своими розовыми, как у белого кролика, глазками и поправляла розовую ленту на голове так, чтобы я заметила, что она тайком покрасила ногти в такой же розовый, как жвачка, цвет. Я бросила взгляд на отца, он сидел в кресле у противоположного иллюминатора в ряду, полностью занятом Прайсами. В окно заглядывал кроваво-красный шар солнца, воспламенявший его взор, устремленный на горизонт в ожидании, когда там появится Африка. Рахили повезло, что мысли отца в тот момент были заняты гораздо более важными вопросами. Он бы выпорол ее за покрашенные ногти, невзирая на возраст. Но это как раз в духе Рахили: совершить хотя бы один, последний грех, перед тем как покинуть цивилизацию. По мне, так Рахиль скучна и очень уж от мира сего, так что я отвернулась к окну, там вид был поинтереснее. Отец считает, что косметика и покрашенные ногти, так же, как и проколотые мочки ушей, – предупредительные сигналы: следующий шаг – проституция.

Насчет полевых лилий он тоже был прав. Где-то над Атлантическим океаном шесть пар белья и сухие смеси превратились для нас в настоящий крест. Каждый раз, когда Рахиль

наклонялась, чтобы порыться в своей сумке, ей приходилось одной рукой придерживать льняной жакет на груди, который все равно тихонько звякал. Теперь я уж и забыла, что за хозяйственные орудия были у нее там спрятаны. Я не обращала на сестру внимания, поэтому она в основном болтала с Адой, которая, впрочем, тоже ее игнорировала, но, поскольку Ада вообще никогда ни с кем не разговаривала, это не так бросалось в глаза.

Рахиль обожает находить смешное во всем на свете, особенно в нашей семье.

– Эй, Ада, – шептала она. – А не отправиться ли нам сейчас на «Домашнюю вечеринку» к Арту Линклеттеру? ⁴

Я невольно рассмеялась. Мистер Линклеттер любит удивлять дам, заглядывая в их сумочки и извлекая их содержимое на всеобщее обозрение. Они находят весьма комичным, когда он достает оттуда консервный нож или фотографию Герберта Гувера. Представьте, что было бы, если бы он сейчас тряхнул нас и из нас посыпались бы фестонные ножницы и топор. От этой мысли я разнервничалась. А еще мне стало душно, и я почувствовала признаки клаустрофобии.

Но в конце концов мы всем стадом тяжело вывалились из самолета, по трапу спустились в леопольдвильский зной, и тут-то наша маленькая сестренка Руфь-Майя уткнулась в маму своими светлыми кудряшками и потеряла сознание.

Внутри здания аэропорта, провонявшего мочой, она

⁴ Американский радио- и телевизионный ведущий.

быстро пришла в себя. Я разволновалась, мне требовалось посетить уборную, но я не знала, как ее здесь найти! Снаружи в ярком солнечном свете качали листьями пальмы. Толпы людей сновали туда-сюда. На полицейских были рубашки цвета хаки со множеством металлических пуговиц, и – вы не поверите – они были вооружены автоматами. Повсюду попадались очень маленькие темнокожие женщины, тащившие вдоль рядов пожухлой зелени полные корзины какой-то поклажи. Метались куры. Группки детей шныряли перед входом, явно подкарауливая иностранных миссионеров. Едва завидев нашу белую кожу, они набросились на нас, клянча по-французски: «Cadeau! Cadeau !⁵» Я подняла руки, демонстрируя, что никаких подарков африканским детям мы не привезли. Мне начинало казаться: может, люди здесь просто присаживаются где-нибудь за деревьями – отсюда и такой запах?

Чета баптистов в черепаховых солнцезащитных очках выступила из толпы, направилась к нам, и мы обменялись рукопожатиями. У них была необычная фамилия – Андердаун: преподобный и миссис Андердаун. Они прибыли, чтобы проводить нас через таможенную и помочь общаться с официальными лицами, поскольку мы не говорили по-французски. Отец намекнул, что мы абсолютно самостоятельны, но, тем не менее, поблагодарил их за любезность. Он сделал это так вежливо, что Андердауны даже не заметили его раздра-

⁵ Подарок (фр.).

жения. Они суетились вокруг нас, словно мы были давними друзьями, и подарили нам москитную сетку – целую охапку, напоминавшую неуклюжий букет, какой старшекласник преподносит девочке, которая ему нравится.

Пока мы стояли с этим пышным «букетом», исходя потом под полными комплектами своей одежды, они потчевали нас информацией о Киланге, которой предстояло стать нашим домом. Им было что порассказать, поскольку они и их мальчики когда-то там жили и стояли у истоков всего, что там теперь имелось, – школы, церкви и прочего. В свое время Киланга была постоянной миссией, где жили четыре американские семьи и куда еженедельно наведывался врач. Теперь миссия пришла в упадок, поведали они. Врача больше нет, и сами они, Андердауны, вынуждены были переехать в Леопольдвиль, чтобы дать мальчикам шанс получить хорошее школьное образование, если, заметила миссис Андердаун, это можно так назвать. У остальных миссионеров, живших в Киланге, давно закончился срок пребывания. В общем, Прайсы теперь будут там одни, получая, конечно, всю посильную помощь, которую Андервуды смогут им оказать. Они предупредили, чтобы мы не ожидали многого. Сердце у меня колотилось, потому что я-то ожидала многого: тропических цветов, рева диких зверей. Царства Божьего в его чистой, первозданной славе.

Потом, когда отец что-то объяснял Андердаунам, те вдруг поспешно проводили нас к крохотному самолетику и про-

стились. Остались лишь наша семья и пилот, который деловито прилаживал наушники под шляпой. Он не обращал на нас внимания, словно мы были обычным грузом. Мы расселись, задрапированные, как усталые подружки невесты, огромным количеством белой сетки, и нас оглушил чудовищный рев самолета, заскользившего прямо над верхушками деревьев. Мы начисто умаялись, как сказала бы мама. Она часто говорила: «Милая, смотри не споткнись, ты же начисто умаялась, это ясно, как Божий день». Миссис Андердаун посмеивалась над тем, что она называла «очаровательным южным акцентом», и даже пыталась подражать тому, как мы произносили «прямо сейчас» и «пока-пока». («Прям счас, – говорила она, – айрплан взлтит прям счас. Пка-пка».) Она заставила меня смутиться из-за того, как мы, оказываясь, глотаем гласные; я прежде не считала, что говорю с акцентом, хотя, естественно, отдавала себе отчет в том, что по радио и телевидению наша южная речь звучит совсем не так, как речь янки. Сидя в маленьком самолете, мне было о чем поразмыслить, а к тому же по-прежнему нужно было пописать. Но к тому времени у нас у всех кружилась голова, никому не хотелось общаться, и мы уже начинали привыкать к тому, чтобы не занимать на сиденьях больше места, чем каждому причитается.

Вскоре самолет шмякнулся на посадочную полосу посреди поля высокой желтой травы. Мы вскочили из своих кресел – кроме отца: из-за своей солидной фигуры он не мог

сидеть в маленьком самолете ровно и вынужден был скрючиться. Отец поспешно произнес молитву:

– Отец наш Небесный, прошу Тебя, дай мне сил стать орудием Твоей совершенной воли здесь, в Бельгийском Конго. Аминь.

– Аминь! – воскликнули мы, и он повел нас на свет через овальный люк.

Минуту мы постояли, моргая, глядя сквозь пыль на сотни темнокожих деревенских жителей, стройных и молчаливых, медленно покачивавшихся, как деревья. Мы покинули Джорджию в разгар летнего цветения персиков, а теперь стояли в мучительно сухом красном тумане неведомо какого сезона. В своих многослойных одеяниях мы, наверное, напоминали семью эскимосов, упавших в джунгли с неба.

Но таково уж было наше бремя, мы ведь столько всего должны были сюда привезти. Каждый из нас прибыл и со своим дополнительным объектом ответственности, впивавшимся в тело под одеждой: кто с гвоздодером, кто со сборником псалмов – ценными предметами, вес которых заместил те легкомысленные вещи, какие мы нашли в себе силы оставить дома. Наше путешествие должно было стать грандиозным испытанием на сохранение равновесия. Мой отец, естественно, нес Слово Божие, и оно, к счастью для него, ничего не весило.

Бог говорит, что африканцы – племя Хама. Он был худшим из трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. Все люди произошли от этих троих, потому что Бог наслал на людей большой потоп и утопил грешников. Но Сим, Хам и Иафет сели в ковчег, и поэтому с ними все было в порядке.

Хам был младшим в семье, как и я, и он был плохим. Я иногда тоже бываю плохой. После того как все они сошли с ковчега и выпустили животных, это и случилось. Однажды Ной лежал голый и пьяный. Хам нашел его и решил, что это ужас как смешно. Два других брата накрыли Ноя одеялом, но Хам хохотал так, что чуть живот не надорвал. Когда Ной проснулся, братья наябедничали ему на него. Тогда Ной проклял Хама и заявил, что все его потомство навечно будет рабами. Вот как они стали черными.

Там, дома, в Джорджии, у них была своя школа, поэтому в школу Рахили, Лии и Ады они – ни ногой. Лия и Ада называются «одаренные дети», однако им приходилось ходить в ту же школу, что и остальным. Но только не цветным. Дяденька в церкви говорил, что они отличаются от нас, поэтому должны держаться отдельно. Так сказал Джимми Кроу⁶, а он устанавливает законы. И еще они не ходили в ресторан «Белый замок», куда водила нас мама пить кока-колу, и в зоопарк. Их в зоопарк пускали только по вторникам. Это все

⁶ Законы Джима Кроу – неофициальное широко распространенное название законов о расовой сегрегации в некоторых южных штатах США, действовавших в период с 1890 по 1964 год.

написано в Библии.

В нашей деревне белых людей вот столько: я, Рахиль, Лия и Ада, мама, папа. Всего шесть. Рахиль – самая старшая. Я – самая младшая. Лия и Ада – средние, и они – близнецы, так что, наверное, их надо считать за одного человека, но думаю, что все-таки за двоих, поскольку Лия везде бегаёт и лазает по деревьям, а Ада не может, у нее одна сторона тела больная, и еще она не разговаривает, у нее голова поврежденная, и она нас ненавидит. И книги Ада читает вверх ногами. А полагаются ненавидеть только дьявола и любить всех остальных.

Меня зовут Руфь-Майя, и я ненавижу дьявола. Очень долго я считала, что меня зовут Сладкая. Мама меня так всегда называла: Сладкая, пооди сюда на минутку. Сладкая, не делай так.

В воскресной школе Рекс Минтон сказал, что лучше бы мы не ехали в Конго, потому что местные жители каннивалы, они сварят нас в котле и съедят. И еще добавил: я могу говорить на их языке, вот слушай: «Угга-бугга-бугга-лугга». Объяснил, что это значит: я возьму себе ножку от этой малышки с курчавыми светлыми волосами. Мисс Банни, наша учительница в воскресной школе, велела ему замолчать. Но вот что я думаю: сама она ведь ни слова не сказала про то, сварят нас в котле и съедят или нет. В общем, я не знаю.

Вот еще белые люди, которых мы пока видели в Африке: мистер Аксельрод, который летает на самолете. У него самая грязная шляпа, какую вы только видели. Прилетев сюда, жи-

вет возле летного поля в хижине один, и мама говорит, что это для него самое подходящее место. И еще преподобный и миссис Андердаун, они много лет назад начали приучать африканских детей ходить в церковь. Андердауны говорят друг с другом по-французски, хотя они белые. Я не знаю почему. У них есть два сына, мальчики Андердауны, они большие и ходят в школу в Леопольдвиле. Андердауны нас жалеют, дали нам в самолет книжки комиксов. Когда Лия и остальные заснули, я все их забрала себе. Дональд Дак. Одинокий рейнджер. И про Золушку и Спящую красавицу. Я спрятала их. А потом мне стало плохо, и меня стошнило прямо в самолете, и я испачкала сумку с вещами и Дональда Дака. Пришлось засунуть книжку под подушку на сиденье, поэтому у нас ее больше нет.

Так что в деревне теперь живут только Прайсы, Одинокий рейнджер, Золушка, Спящая красавица и племя Хама.

Рахиль Прайс

«Господи! О Господи! И теперь нам придется тут жить?» Это первое, что пришло мне в голову, когда мы только ступили на землю Конго. Предполагалось, что мы здесь будем хозяевами положения, но, судя по всему, мы не распоряжались ничем, даже самими собой. Папа представлял торжественную встречу как большое молитвенное собрание в старых традициях, служившую бы доказательством, что сам Бог послал нас сюда, чтобы мы тут обосновались. Но когда мы вы-

шли из самолета и заковыляли через поле со своими многочисленными вещами, конголезцы окружили нас – о Боже! – что-то сердито скандируя. Наверняка заклинания. Нас обдало запахом потных тел. Что надо было все же запихнуть в сумку, так это *антипреспирантные* подушечки «5 дней».

Я обернулась к сестрам, хотела сказать им: «Эй, Ада, Лия, ну, вы рады, что пользуетесь «Дайалом»? ⁷ Хорошо бы им все пользовались, правда?», но не заметила ни одной из близняшек, зато увидела, как Руфь-Майя второй раз за день упала в обморок. Глаза у нее закатились, остались видны только белки. Чем бы ни было то, что сбивало ее с ног, я знала, что она сопротивлялась изо всех сил. Руфь-Майя на удивление упорна для девочки пяти лет и не желает пропустить никакого веселья.

Мама держала за руку ее и меня – чего я не стерпела бы дома, в Вифлееме. Однако здесь, в этой суматохе, мы бы просто потерялись, нас несло этой черной людской рекой. И эта грязь, Господи! Она была повсюду, буквально висела в воздухе, как пыль от красной охры, а я тут как тут – в своем зеленом льняном костюме. Я чувствовала песок в волосах, а они у меня такие светлые, что мгновенно пачкаются. Ох, ну и местечко! Меня уже охватили дурные предчувствия насчет смывного туалета, стиральной машины и других простых бытовых вещей, которые я считала само собой разумеющимися.

⁷ Американская фирма, производящая жидкие антибактериальные мыла.

Люди подгоняли нас к какому-то внутреннему дворику с земляным полом, под навесом; дворик, как выяснилось, и должен был стать папиной церковью. Такое уж везение: земляная церковь. И должна заметить, что молитвенного собрания в расписании вечера не значилось. Мы остановились там, под соломенной крышей, окруженные толпой, и я чуть не закричала, обнаружив, что рука, которая меня держала, была не маминой ладонью, а толстой коричневой клешней какого-то незнакомца! От моего спокойствия не осталось и следа. Я рванула свою руку, и земля накренилась у меня под ногами. В панике я стала озираться по сторонам, как конь Черный Красавчик, окруженный языками пламени. Наконец увидела мамино белое платье, развевавшееся рядом с отцом, как флаг *капутиляции*. Следом, одну за другой, я различила пастельные фигуры сестер, напоминавшие связку праздничных воздушных шариков, только праздник был какой-то неправильный. О Боже! Я почувствовала, что погружаюсь в пучину отчаяния. Папа, напротив, казался довольным, и наверняка возносил хвалу Иисусу за эту возможность, до которой нам всем предстояло возвыситься.

Нам было необходимо переодеться – много слоев белья и платьев тянули нас вниз, но никакого шанса не предвиделось. Ни единого. Нас подталкивали прямо в гущу этого языческого столпотворения. Я понятия не имела, куда подевались наши чемоданы и холщовые сумки. Мои пальцы и фестонные ножницы в кожаном футляре висели у меня на

шее, создавая угрозу и мне, и окружающим в этой толкотне. Вскоре нам позволили сесть всем вместе за стол, плотно прижавшись друг к другу, на сальную скамью, сколоченную из необтесанных бревен. Первый день в Конго. Опасаясь испортить свой новенький, восхитительно сшитый льняной костюм ярко-зеленого цвета, с квадратными перламутровыми пуговицами, я не рисковала снять пальто. Мы сидели так тесно, что было трудно дышать, даже если бы хотелось это делать в ситуации, когда с каждым вдохом можно всосать в себя через нос всех микробов, какие только существуют. Еще что нам следовало привезти, так это листерин⁸. На сорок пять процентов снижает вероятность заболевания простудой. Рев голосов и каких-то потусторонних птиц оглушал, как *артирелийская* канонада, и распирал голову изнутри. Я чувствительна к любому шуму, от него и от яркого солнечного света у меня начинает страшно болеть голова. К счастью, хотя бы солнце к тому времени уже зашло. В противном случае я, не исключено, последовала бы примеру Руфи-Майи и упала в обморок или меня вырвало бы – таковы были два ее достижения за день. Я ощутила прикосновение к затылку, и сердце у меня заколотилось, как барабан. В дальнем конце «церкви» развели огромный ревуший костер. Маслянистый дым повис над нами густой вуалью, все ниже спускаясь из-под соломенной крыши. Запах у него был таким резким, что от него могло задохнуться любое живое существо. Внутри

⁸ Антибактериальный ополаскиватель полости рта.

ярко-оранжевого огненного кольца я заметила очертания чего-то темного, вращающегося на вертеле, которым оно было проткнуто. Четыре негнущиеся ноги ритмично вскидывались вверх, словно в мольбе о помощи. Интуиция подсказывала мне, что я обречена умереть на месте, прямо сейчас, а мама даже не сможет приложить ладонь к моему вспотевшему лбу. Мне припомнилось несколько случаев из прежней жизни, когда я пыталась – признаю – вызвать у себя температуру, чтобы не ходить в школу или в церковь. Сейчас настоящий жар пульсировал у меня в висках – все лихорадки, которые раньше мечтала навлечь на себя, настигли меня.

Вскоре я сообразила, что прикосновение к затылку – мамино. Она обнимала нас четверых своими длинными руками: Руфь-Майю, меня и близняшек Лию и Аду. Руфь-Майя, конечно, совсем маленькая, но Лия и Ада – парочка весьма внушительных размеров, хотя Ада ниже ростом из-за своего увечья. Как маме удалось обнять всех нас четверых, было выше моего понимания. А биение моего сердца было биением не сердца, а барабанов. Мужчины били в огромные, тяжеленные барабаны, а женщины пели высокими дрожащими голосами, как птицы, обезумевшие в полнолуние. Песни представляли собой бесконечно повторяющуюся переключку на местном языке между запевалой и остальным хором. Пение было таким странным, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознала: они исполняют христианские гимны «Воины Христовы, с радостью вперед» и «Что за

друга мы имеем во Христе». От этого у меня по коже поползли мурашки. Естественно, они имели право петь их, но вот в чем загвоздка: прямо у нас перед глазами женщины стояли, освещенные пламенем, с голыми, как сойкино яйцо, грудями. Кто-то из них танцевал, остальные суетились над стряпней, будто в наготе не было ничего особенного. Они сновали взад-вперед с кастрюлями и котелками, не испытывая никакого стыда. Были заняты жарившимся на костре животным, отхватывая теперь от него куски и опуская их во что-то дымившееся в котле. Каждый раз, когда женщины наклонялись, их тяжелые груди свисали, как резиновые шары, наполненные водой. Я отворачивалась от них и от голых детей, цеплявшихся за их длинные запахнутые юбки, и смотрела поверх их голов на папу, недоумевая: неужели все это жутко шокирует только меня одну? У папы был тот самый вид – прищуренный взгляд, стиснутые зубы, – который свидетельствовал, что он медленно закипает, хотя никогда нельзя было угадать, к чему это приведет. Чаще всего это приводило туда, где вам меньше всего хотелось бы оказаться.

После этого весьма долгого концерта народной музыки – пения так называемых гимнов с перекличками – закопченное угощение было снято с огня, переложено в сковороды, если их так можно было назвать, и смешано в серую дымящуюся массу. Затем ее стали шлепать в оловянные тарелки или миски, поставленные перед нами. Ложки, которые нам выдали, были старыми большими металлическими половниками,

и я точно знала, что ни одна из них не войдет в мой рот. У меня такой маленький рот, что зубы мудрости растут вкривь и вкось. Я осмотрелась по сторонам в поисках кого-нибудь, с кем можно было бы поменяться, и – о чудо! – выяснилось, что ни у кого, кроме членов нашей семьи, вообще не было никаких ложек! Что все эти люди собирались делать со своей едой, было даже страшно представить. Большинство из них еще ждали, когда им подадут ее, как птицы в пустыне. Они весело стучали своими пустыми металлическими мисками или котелками, как по барабану. Это напоминало оркестр со свалки металлолома, причем у каждого предмета был свой особый звук. Руфи-Майе дали маленькую чашечку, что – я точно знала – ей не понравилось, поскольку заставляло чувствовать себя маленькой.

Вдруг до меня дошло, что среди всего этого гвалта кто-то говорит по-английски. Было почти невозможно разобрать, что именно, потому что люди вокруг пели, пританцовывали, стуча своими тарелками и размахивая руками, как деревья ветками во время урагана. Но возле костра, на котором готовили еду, угольно-черный человек в желтой рубашке с закатанными рукавами показывал на нас и во всю мощь своих легких вопил по-английски:

– Добро пожаловать! Мы приветствуем вас!

За ним стоял еще один человек, много старше, обернутый по местным обычаям куском ткани, в высокой шляпе и очках. Взмахнув хвостом какого-то животного, он что-то вы-

крикнул на здешнем языке, после чего все притихли.

– Преподобный, миссис Прайс и ваши дети! – возопил более молодой, в желтой рубашке. – Добро пожаловать на наш праздник! Сегодня мы зарезали козу в честь вашего приезда. Скоро ваши животы наполнятся нашим фуфу⁹ пили-пили¹⁰.

Полуголая женщина, стоявшая за ним, принялась хлопать в ладоши и ликовать так, словно не могла долее сдерживать свой энтузиазм по поводу мертвой козы.

– Преподобный Прайс, – произнес мужчина, – пожалуйста, скажите нам благодарственное слово за этот праздник.

Он жестом пригласил папу приблизиться, хотя в этом не было необходимости. Папа уже стоял на скамейке, поэтому казался футов на десять выше. Он остался в одной рубашке, однако ничего необычного в этом не было: часто в разгар проповеди отец снимал пиджак, мог позволить себе сделать это и сейчас, поскольку в отличие от нас не был обвешан под ним вещами. Брюки с заглаженными стрелками были туго перетянуты ремнем, отчего грудь и плечи казались широченными.

Папа медленно поднял руку над головой, словно какой-то из римских богов, намеревающийся обрушить на землю громы и молнии. Присутствующие смотрели на него, задрав головы, улыбаясь, хлопая в ладоши, размахивая руками, голыми грудями и всем прочим.

⁹ Лепешки из кукурузной муки или муки маниока.

¹⁰ Соус, напоминающий чили.

– Вот, Господь восседит на облаке легком и грядет в Египет¹¹, – угрожающе произнес он.

– Ура! – отозвалась толпа, а у меня желудок будто завязался узлом. У папы – о Боже – был тот самый взгляд, который как бы говорил: вот подождите, спустится тяжелой поступью Моисей с горы Синайской с десятью новыми способами разрушить вашу жизнь!

– В Египет, – нараспев повторил он, то повышая свой проповеднический голос, то понижая его, вверх-вниз, вверх-вниз, как пила, врезающаяся в древесный ствол, – и во все уголки земные, куда свет Его... – папа сделал паузу и осмотрел всех строго, – куда свет Его еще не дошел!

Он перевел дыхание и продолжил, слегка раскачиваясь в такт декламации:

– Господь грядет в лице ангелов милосердия Его, посланников праведности Его в города на равнине, где Лот живет среди грешников!

Радостный гвалт стих, теперь все внимательно слушали его.

– И сказал Лот грешникам, столпившимся у дома его: люблю вас, братие, не творите зла! Ибо грешники содомские изъевляли свою злую волю перед входом в дом его.

Я вздрогнула. Разумеется, я знала девятнадцатую главу Книги Бытия, которую отец заставлял нас переписывать множество раз. И я ненавидела ту часть, где Лот предлагает

¹¹ Исая 19:1.

собственных дочерей-девственниц этому сброду грешников, чтобы те делали с ними что хотят, только бы оставили в покое ангелов Божиих, гостивших у него. Ничего себе мена! А его несчастная жена, конечно, обратилась в соляной столб.

Но папа все это пропустил и перешел сразу к страшным последствиям:

– Посланники Божии сокрушили грешников, представших перед лицом Господа в своей наготе.

Он замолчал, протянул свою огромную руку к пастве, привлекая ее внимание, а другой указал на женщину у костра. Ее обвисшие большие груди распластались, словно приглаженные утюгом, но она, судя по всему, не находила в своем внешнем виде ничего необычного. Одной рукой женщина держала длинноногого ребенка, оседлавшего ее бедро, другой скребла свою коротко остриженную голову. Она нервно осмотрелась, поскольку глаза присутствовавших вслед за осуждающим взглядом моего отца уставились на ее наготу, чуть присела и подтянула повыше крупного ребенка на бедре. Его голова свесилась набок. У мальчика были рыжеватые волосы, торчавшие вихрами, и оцепенелый взгляд. Бесконечно долго мать стояла в полной тишине, в центре всеобщего внимания, втянув голову в плечи, испуганная и озадаченная. Потом наконец развернулась и, взяв длинную деревянную ложку, пошла мешать варево в котле.

– Наготе, – повторил папа, – и тьме душевной! Как сказано в Писании: «Ибо мы истребим сие место, потому что велик

воплъ на жителей его к Господу».

Никто уже не пел и не веселился. Понимали они или нет значение слов «воплъ на жителей его», однако больше не шумели. Даже не дышали, во всяком случае, так казалось. Отец может многого добиться одним лишь тоном своего голоса, поверьте. Женщина с ребенком на бедре стояла спиной ко всем, присматривая за готовящейся едой.

– И вышел Лот и говорил с теми, кто был достоин... – Теперь папа остудил свой пыл и вещал более мягким голосом: – И сказал: встаньте, выйдите из сего места тьмы! Поднимайтесь и идите к свету! Давайте же помолимся Господу, – завершил он, резко прыгнув на землю. – Господи, даруй тем из нас, кто достоин, силы подняться над злом и выйти из тьмы на дивный свет Царя нашего Небесного. Аминь.

Все лица были по-прежнему обращены к папе, словно они были блестящими темными цветками, а его рыжая голова – солнцем. Настроение у людей медленно падало от радости через смущение к тревоге. Теперь, когда чары были разрушены, присутствовавшие задвигались и забормотали. Несколько женщин подтянули свои запахивающиеся юбки и, прикрыв грудь, закрепили их спереди. Остальные, собрав бесштанную ребятню, исчезли в темноте. Насколько я понимаю, отправились спать без ужина.

Воздух у нас над головами стал совершенно неподвижным. Не было слышно ни звука, кроме стрекота кузнечиков где-то там, в непроглядно-черной тьме.

Ничего не оставалось, кроме как приняться за еду. Под взглядами присутствовавших мы с сестрами взяли за свои огромные ложки. То, что нам подали, было совершенно безвкусным варевом – просто какие-то влажные комки, которые разжевывались до клейкой массы. Но как только я взяла это в рот и раскусила, язык у меня словно охватило пламенем. Барабанные перепонки будто обожгло изнутри. Из глаз потекли слезы, проглотить это я не могла. Чувствовала, что у меня, мечтавшей только о веселом празднике шестнадцатилетия и мохеровой двойке, начинается истерика.

Руфь-Майя задыхнулась, сделав страшное лицо. Мама наклонилась, чтобы, как я думала, похлопать ее по спине, но вместо этого шипящим жутким тоном зашептала: «Девочки, ведите себя вежливо, вы слышите? Мне очень вас жаль, но если вы выплюнете, я задам вам такую трепку, что не обрадуетесь».

И это была мама, которая ни разу в жизни не подняла руку ни на одну из нас. Я представила эту картинку, прямо здесь, в наш первый африканский вечер. Я сидела, дышала через нос, держа во рту нечто пылающее, с ужасным запахом и колючее от жесткой щетины с горелой шкуры мертвого животного. Крепко зажмурилась, но даже тогда слезы продолжали катиться у меня из глаз. Я оплакивала грехи всех тех, кто швырнул мою семью на этот жуткий мрачный берег.

Рассвет манит, дурной глаз ворожит: это утро, розовый Конго. Любое утро, каждое утро. Цветущий, розовый, наполненный птичьим пением воздух, неприятно испещренный дымком костров, на которых готовятся завтраки. Широкая красная полоса земли – так называемая дорога – прямо перед нами, теоретически она ведет отсюда к чему-то там, вдали. Но я через мои глаза Ады вижу ее как плоскую планку, нарезанную на куски – прямоугольники и трапеции – тощими черными тенями высоких пальмовых стволов. В глазах Ады мир – это путаница цветов и форм, соревнующихся за внимание половины мозга. Этот парад никогда не заканчивается. На ломаные кусочки дороги из буша, кукарекая, выходят дикие петухи. Они с дерзкой самоуверенностью скидывают лапы, словно еще не слышали о двуногих зверях, которые собираются поработить их жен.

Конго распластался посередине мира. Солнце встает, солнце садится – всё ровно в шесть часов. То, что является утром, отменяется перед наступлением ночи: петухи уходят обратно в лес, костры гаснут, птицы лишь тихо воркуют, солнце меркнет, небо кровоточит, чернеет, ничто больше не существует. Прах к праху.

Деревня Киланга тянется вдоль реки Куилу длинным рядом маленьких глинобитных хижин, выстроившихся одна за другой по краю красной дороги-змеи. Со всех сторон нас окружают деревья и бамбук. В детстве у нас с Лией была длинная нитка разномастных бусин – на выход, однажды мы

подрались из-за нее, она порвалась и змейкой разрозненных осколков упала на землю. Точно так же из самолета выглядела Киланга. Каждая красно-глиняная хижина словно сидит на корточках посреди своего утоптанного красно-глиняного двора, потому что земля в деревне тщательно очищена от растительности, как кирпич. Как нам объяснили, так удобнее высматривать и убивать наших друзей-змей, когда они навевываются к нам в гости. Таким образом, Киланга – длинная плоская змея, очищенная от растительности, как от кожи. Глинобитные хижины, выстроившись в ряд, стоят на коленях лицом на восток, будто молятся о том, чтобы не рухнуть, – не на тот восток, где Мекка, а на тот, где тянется единственная деревенская дорога и течет река, а за ними – розовое чудо восхода.

Церковь, место нашего недавнего праздника, расположена в конце деревни. На противоположном ее конце – наш дом. Поэтому, когда семья Прайсов шествует в церковь, у нас есть возможность по пути заглянуть во все деревенские жилища. В каждом из них – одна квадратная комната и навес под соломенной крышей, где мог бы жить кто-нибудь вроде Робинзона Крузо. Но здесь никто под навесами не живет. Всё происходит в переднем дворе – на открытой сцене с утоптанной красной глиной под босыми ногами, – где усталые тощие женщины в одеяниях разной степени изношенности ворошат палками маленькие костры и готовят на них еду. Стайки детей бросаются камнями, гоняя обезумевших маленьких коз

через дорогу, чтобы потом, когда животные тихонько прокрадутся обратно, снова начать их гонять. Мужчины сидят на перевернутых ведрах и глазуют на то, что движется мимо. Чаще всего мимо медленно проплывают женщины со множеством нагроможденной друг на друга поклажи на голове. Эти женщины – столпы чуда, отрицающие закон гравитации при исполнении самых обыденных дел. Они могут сидеть, стоять, разговаривать с кем-нибудь, грозить палкой пьяному мужчине, протянуть руки назад, чтобы переместить вперед подвязанного платком на спине ребенка и покачать его, и все это не снимая с головы навьюченной на нее поклажи. Они – словно балерины, не ведающие того, что пребывают на сцене. Я от них глаз отвести не могу.

Когда бы женщина ни покидала свой открытый всему миру широкий двор, чтобы отправиться на работу в поле или прогуляться по какому-то делу, сначала она должна привести себя в благопристойный вид. Для этого, несмотря на то, что на ней уже есть запашная юбка-канга, как их тут называют, она отправляется в дом, берет еще один прямоугольный кусок материи, оборачивается им поверх первой юбки так, чтобы он покрывал ноги до подъема, и подвязывает его под обнаженной грудью. Ткани обычно имеют яркий рисунок и носят их в причудливых сочетаниях, например, красный в полосу и оранжевый в клетку. Свободное соединение цветов, нравится вам это или представляется безвкусным, позволяет этим женщинам выглядеть более празднично и менее изно-

ренно.

Вид за живой картиной Киланги, позади домов, «смазывает» высокая стена слоновьей травы, остается лишь ощущение дали. Солнце, висящее над ней днем, розовое – круглая дыра в простирающемся белом мареве; на него можно смотреть бесконечно и не ослепнуть. Кажется, что настоящая земля, где светит настоящее солнце, находится где-то в другом месте, далеко отсюда. А на востоке, за рекой, словно старая огромная скомканная скатерть, раскинулась гряда темно-зеленых холмов, наползающих друг на друга и растворяющихся вдали в бледной туманной голубизне. «Нависают, как приговор», – говорит мама, глядя на них и вытирая влажный лоб тыльной стороной ладони.

«Место – прямо как из книги сказок, – любит вставить в ответ моя сестра-близняшка Лия, широко открывая глаза и запроля за уши свои короткие волосы, будто хочет как можно лучше увидеть и услышать все в мельчайших подробностях. – И все же мы, Прайсы, живем тут всей семьей!»

Дальше о своих наблюдениях сообщает Руфь-Майя: «Здесь у всех мало зубов во рту». И наконец Рахиль: «Господи, разбудите меня, когда это закончится». Так Прайсы по очереди выносят свои суждения. Все, кроме Ады. Она суждений не выносит. Потому что я – та единственная, кто вообще не разговаривает.

Насколько я понимаю, наш отец говорит за всех нас. Однако в данный момент он немногословен. Поиски отняли у

него два или три фунта веса, поскольку в глиняно-соломенном поселке Киланга, как выяснилось, нет гвоздей. Открытое со всех сторон строение, служащее церковью и школой, состоит из бетонных столбов, поддерживающих пальмовую крышу, и лавины алых бугенвиллий, благодаря которой «помещение» лишь выглядит более-менее закрытым. Наш дом тоже из глины, соломы, цемента и цветущих лиан. Лия по-своему честно помогала отцу рыскать вокруг в поисках чего-нибудь, похожего на гвозди, но, увы, нигде не нашлось ничего, по чему можно было бы ударить молотком. Для нашего отца, обожающего что-нибудь чинить между воскресеньями, это явилось страшным разочарованием.

Тем не менее здесь нам придется жить. Самолет «Летающий куст», который плюхнулся на здешнее поле, чтобы высадить нас, сразу улетел обратно, и никакого другого сообщения не будет, пока он не вернется в следующий раз. Мы спросили насчет грунтовой дороги, которая тянется вдоль деревни, и нам объяснили, будто она достигает Леопольдвилля. Сомневаюсь. Неподалеку от деревни дорога с обоих концов превращается в клубок твердых колёй, напоминающих океанские волны, заледеневшие в разгар шторма. Папа полагает, что за ближайшим окружением, вероятно, простираются болота, они способны поглотить боевой корабль, не говоря уж об автомобиле. В деревне можно найти рудименты машин, но они напоминают рубцы той жизни, в поисках которой следовало бы раскапывать кладбище, если вам по душе

подобное времяпрепровождение. Это какие-то проржавевшие детали, разбросанные вокруг и использующиеся для чего угодно, только не для передвижения. Однажды, когда мы шли по деревне с папой, он указал нам в назидание на крышку воздушного фильтра карбюратора, подвешенную над огнем, в которой что-то варили, и на глушитель от джипа, какой шесть мальчишек одновременно использовали в качестве барабана.

Единственная магистраль здесь – река Куилу. Это слово, которое ни с чем не рифмуется. Почти прелюдия, но не совсем. Куилу. Она тревожит меня как сомнительный маршрут побега. Она течет без ответа, на мой слух – как музыкальная полуфраза.

Папа утверждает, что Куилу судоходна на всем протяжении отсюда до места впадения в реку Конго. Вверх по ней можно проплыть только до высоких живописных порогов, их рев распространяется на юг аж до нас. В общем, мы добрались очень близко к краю земли. Порой мы видим проплывающий мимо странный кораблик, но он перевозит людей только из соседней деревни, такой же точно, как наша. Чтобы узнать новости, получить почту или какие-нибудь сведения о том, что Рахиль называет «чертой, за которую мы слишком далеко перешагнули», мы ждем пилота эффективного маленького самолета, мистера Ибена Аксельрута. О его надежности можно сказать следующее: если говорят, что он прилетит в понедельник, значит, он появится в четверг, в

пятницу или вовсе не прилетит.

Так же, как у деревенской дороги и здешней реки, тут ни у чего, в сущности, нет конца. Конго – длинная тропа, она ведет тебя от одного укромного места к другому. Пальмы стоят вдоль нее, глядя на тебя сверху в ужасе, словно слишком высокие испуганные женщины со вставшими дыбом волосами. Но я, несмотря ни на что, намерена пройти по этой тропе, даже при том, что хожу плохо и медленно. Вся моя правая половина волочится. Из-за внутриутробной травмы я родилась с половиной мозга, высохшей, как чернослив, и лишённой кровоснабжения. Теоретически мы с сестрой Лией идентичны, так же, как теоретически мы все созданы по Божьему образу и подобию. Лия и Ада зародились как идеальные зеркальные отражения друг друга. У нас одинаковые темные глаза и каштановые волосы. Но я хромое не пойми что, а она осталась безупречной.

О, я легко представляю эту внутриутробную травму: мы лежим в мамином чреве вместе, тра-ля-ля, все прекрасно, и вдруг Лия поворачивается и заявляет: «Ада, ты какая-то заторможенная. Я тебя ждать не буду, и все питание забираю себе». Она растёт сильной, а я слабой. (Да! Иисус любит меня!) И таким образом получается, что в раю маминой утробы моя сестра меня наполовину сожрала.

Официально мое состояние называется гемиплегией. Геми – значит «половина»: гемисфера (полушарие), гемианопсия (потеря половины поля зрения), гемианестезия (потеря

чувствительности в одной половине тела). Плегия – это прекращение движения. После нашего осложненного рождения врачи в Атланте поставили несколько диагнозов, явившихся последствиями асимметричности моего мозга, в том числе – афазия Вернике и Брока ¹², и отправили моих родителей домой по обледеневшим дорогам в сочельник с полуторным набором идентичных близнецов и предсказанием, что я, возможно, когда-нибудь научусь читать, но не произнесу ни слова. Мои родители, судя по всему, отреагировали на это спокойно. Не сомневаюсь, преподобный объяснил своей изнуренной жене, что такова воля Бога, которому – после рождения еще двух девочек сразу вслед за первой – стало ясно: в нашем доме уже достаточно женщин, чтобы наполнить его болтовней. У них тогда даже еще не было Руфи-Майи, но была собака, тоже девочка, она выла, и наш отец до сих пор любит повторять: слишком много сопрано в церковном хоре. Или еще: собака, которая переломила хребет верблюду. Наш отец, вероятно, интерпретировал афазию Брока как рождественский подарок от Бога одному из своих достойнейших служителей.

Я не склонна нарушать предсказание докторов и держу свои мысли при себе. В молчании много преимуществ. Если ты не разговариваешь, люди полагают, что ты и не слышишь или что ты слабоумна, и, ничего не опасаясь, переста-

¹² Заболевание, выражающееся в нарушении понимания и воспроизведения речи.

ют скрывать собственные недостатки. Лишь порой я бываю вынуждена нарушить свое спокойствие: когда на меня орут или забывают обо мне в суматохе. Обо мне часто забывают в суматохе. Я пишу и рисую у себя в блокноте и много читаю.

Это правда, что я не могу говорить так же хорошо, как думать. Однако так ведь бывает у большинства людей, насколько я могу судить.

Лиля

Поначалу мои сестры суетились в доме, играя роль маминых помощниц по хозяйству с бóльшим энтузиазмом, чем раньше, дома, за всю свою жизнь. По единственной причине: они боялись ступить за порог. У Руфи-Майи возникла дикая идея, будто наши соседи хотят ее съесть. Рахиль, которой постоянно мерещились змеи, восклицала: «О Господи!», закатывала глаза и объявляла, что все следующие двенадцать месяцев проведет в постели. Если бы за продолжительность сроков болезни давали премии, Рахиль уже озолотилась бы. Но скоро ей это надоело, и она за шкурку вытащила себя из кровати, чтобы посмотреть, что происходит вокруг, принявшись вместе с Адой и Руфью-Майей помогать маме распаковывать и расставлять хозяйственные принадлежности. Нужно было извлечь противомоскитную сетку и натянуть ее над нашими четырьмя одинаковыми койками и более широкой родительской кроватью. Малярия – враг номер один. Каждое воскресенье мы глотали таблетки хинина, такие горькие,

что, казалось, язык вот-вот вывернется наизнанку, как посыпанный солью слизняк. Однако миссис Андердаун предупредила нас: таблетки – не таблетки, но если москитных укусов много, они способны пересилить действие хинина в крови, и тогда нам конец.

Лично я держусь в стороне от войны с кровяными паразитами. Предпочитаю помогать папе по огороду. Я вообще всегда выбирала работу на свежем воздухе, например, сжигание мусора и сорняков, в то время как мои сестры ссорились из-за мытья посуды и прочего. Раньше, дома, у нас был великолепный огород, обильно плодоносивший каждое лето, поэтому, естественно, папа решил привезти с собой семена, которыми набил карманы: бобы «кентуккское чудо», длинные кабачки и патиссоны, помидоры «великан»... Он намеревался разбить показательный огород, с него мы будем собирать урожай для собственного стола и снабжать плодами и семенами жителей деревни. Это должно было стать нашим первым африканским чудом: бесконечные ряды доброты, прорастающие из семян, привезенных в маленьких шуршащих пакетиках, протягивающие свои побеги из нашего огорода к другим, текущие потоками дальше, по всему Конго – как горные ручьи сливаются в озера. Благородство наших намерений позволяло мне чувствовать себя здравомыслящей, осененной Божиим благословением и защищенной им от змей.

Однако времени терять было нельзя. Сразу после того как

мы преклонили колена на крыльце нашего скромного жилища в благодарственной молитве, сложили под навесом кухонную утварь и одежду, за исключением минимума необходимой в первую очередь, папа начал расчищать клочок земли у кромки джунглей неподалеку от дома и размечать грядки. Было бы большим, можно сказать, гигантским шагом вперед, если бы он сначала спросил: «Мама, можно?»¹³ Но моему отцу не требовалось ничего разрешения, кроме Божьего, а Спаситель явно одобрял обращение дикой земли в огород.

Папа прибил высокую траву и дикие красные цветы на квадратном участке земли, даже не взглянув на меня. Потом вскопал землю и принялся быстрыми резкими движениями выдергивать из нее траву – как будто волосы с головы грешного мира. На нем были мешковатые, с отворотами, рабочие брюки цвета хаки и белая рубашка с короткими рукавами, он работал посреди взметнувшегося красного облака пыли, похожий на коротко остриженного джинна, только что появившегося из ниоткуда. Красная пыль, как мех, покрывала курчавые волосы на предплечьях отца, по вискам ручейками стекал пот. Желваки ходили у него на скулах, поэтому я знала, что он готовится к назиданию. Отец никогда не забывает о воспитании душ своих домочадцев и часто повторяет, что видит себя капитаном тонущего корабля наших женских

¹³ Детская игра, в которой один из участников, отвернувшись, не видит остальных, а лишь дает разрешение на их передвижения, если они его об этом попросят.

душ. Знаю, что он, наверное, считает меня надоедливой, но я люблю проводить время с папой.

– Лия, – произнес он, – как ты думаешь, зачем Господь дал нам семена для выращивания вместо того, чтобы еда просто являлась нам готовой, как кучка камней в поле?

Это была картина – глаз не оторвать: пока я размышляла над его вопросом, он взял лезвие таяпки, которое пересекло Атлантику в маминой сумке, и насадил на длинную палку, обструганную им заранее под гнездо. Зачем Господь дал нам семена? Их, конечно, легче рассовать по карманам, чем целые овощи, однако я сомневалась, что Богу действительно интересны дорожные трудности. В тот месяц мне было ровно четырнадцать с половиной лет, и я еще не привыкла к месячным. Я всей душой верую в Бога, но в последнее время считаю, что большинство мелких деталей жизни намного ниже его достоинства.

Я призналась, что не знаю ответа.

Отец проверил тяжесть и прочность своей таяпки и внимательно посмотрел на меня. Он весьма солидный, мой отец: широкие плечи, необычно крупные руки. Это тот тип красивых рыжеволосых мужчин, которых обычно принимают за шотландцев, темпераментных, хотя и вспыльчивых.

– Потому, Лия, что Господь помогает тем, кто помогает себе сам.

– О! – воскликнула я, и сердце подскочило у меня к горлу, ведь я, конечно же, это знала. Если бы я могла хоть ко-

гда-нибудь высказать то, что знаю, достаточно быстро, чтобы соответствовать папиным требованиям!

– Господь создал мир труда и воздаяния, – продолжил папа, – идеально уравновешенный. – Он достал из кармана носовой платок и вытер пот: сначала вокруг одного глаза, потом вокруг другого, очень аккуратно. У него на виске был шрам, и отец плохо видел левым глазом – результат полученной на войне раны, о которой он никогда не рассказывал, не был хвастуном. Сложил платок, засунул его обратно в карман и, вытянув руки в стороны ладонями вверх, продемонстрировал божественное равновесие мира. – Маленькое доброе дело здесь, – отец немного опустил левую ладонь, – маленькое воздаяние тут. – Его правая ладонь будто поникла под тяжестью почти невесомого воздаяния. – Большая жертва – большое воздаяние! – сказал он, и обе его руки опустились, а я всей душой возжелала этой сладкой тяжести добра, которую отец взлелеял на своих ладонях.

Потом он потер руки и произнес:

– Господь ждет от нас, чтобы мы просто проливали свою часть пота за щедрые дары жизни, Лия.

Отец снова взялся за тяпку и продолжил вскапывать и рыхлить маленький квадрат своей власти над джунглями, набросившись на работу с такой мускульной силой, что, разумеется, должно было, причем скоро, появиться столько помидоров и бобов, что они будут лезть у нас из ушей. Я знала: Божии весы громадны и идеально точны, мне они пред-

ставлялись увеличенной копией тех, что стояли на прилавке мясника в вифлеемском «Пигли-Вигли». Я поклялась усердно работать во славу Его, превзойдя всех остальных в своем ревностном служении делу преобразования этой земли во имя Господа. Вероятно, когда-нибудь я покажу всей Африке, как надо выращивать урожай! Без единой жалобы я ведро за ведром таскала воду из большой оцинкованной ванны, стоявшей возле крыльца. Папа смачивал землю, прежде чем взрыхлять ее тяпкой, чтобы поднималось меньше этой ужасной пыли. Красная глина высыхала на его брюках, как кровь зарезанного животного. Идя вслед за ним, я находила оторванные головки множества мелких ярко-оранжевых орхидей. Одну я поднесла к глазам. Она была нежной и необычной: с выпуклым желтым язычком и бордовым крапчатым горлышком. Никто никогда не сажал эти цветы, уверена, и не собирал тоже, это от начала до конца была работа Его самого. Наверное, Он не очень верил в способность человечества довести дело до конца в тот день, когда создал цветы.

Мама Беква Татаба – маленькая, черная как смоль женщина – наблюдала за нами. Плечи у нее торчали, как крылья, огромный белый эмалированный таз каким-то чудом неподвижно покоился на голове, несмотря на то, что она быстро поводила ею справа налево. Работой мамы Татабы, как мы с удивлением узнали, было жить с нами и получать небольшое жалованье за то, чтобы выполнять те же обязанности, какие

она выполняла для нашего предшественника по килангской миссии, брата Фаулза. Вообще-то он оставил нам двух жильцов: маму Татабу и попугая по имени Мафусаил. Обоих учил английскому языку и, судя по всему, еще много чему, потому что воспоминания о нем были окутаны тайной. Из подслушанных мною разговоров родителей о брате Фаулзе я поняла, что тот вступал в нетрадиционные отношения с местными людьми и еще он был янки. Я слышала, как они упоминали, что он был нью-йоркским ирландцем, а это свидетельствует о многом: те печально известны как паписты-католики. Папа нам объяснил, что брат Фаулз, совсем сойдя с ума, вступал в брачные связи с местными.

Вот почему Союз миссионеров в конце концов и позволил нам сюда приехать. Вначале они оскорбили папу, ответив отказом, даже после того как вифлеемский приход собрал специальную десятину, чтобы послать нас сюда на целый год для окропления местных именем Иисуса. Но больше никто не согласился занять пост в Киланге, а Андердауны потребовали, чтобы это был кто-то уравновешенный и с семьей. Ну вот, мы – семья, а наш отец уравновешен, как пень. Тем не менее Андердауны настаивали, чтобы продолжительность миссии ограничивалась одним годом, – это, мол, срок, недостаточный, чтобы полностью (видимо, можно только частично) сойти с ума, даже если все пойдет плохо.

Брат Фаулз провел в Киланге шесть лет. Это, если подумать, действительно достаточно долго для любого вида веро-

отступничества. Трудно сказать, как он мог повлиять за это время на маму Татабу. Однако мы нуждались в ее помощи. Она носила воду из реки, чистила и зажигала керосиновые лампы, колола дрова, разжигала огонь в кухонной печи, ведрами забрасывала золу в дыру уборной, а в перерывах между более тяжелыми работами убивала змей. Нам с сестрами мама Татаба внушала благоговение, но мы еще не совсем к ней привыкли. Один глаз у нее был слепой. Он напоминал яйцо, у которого желток лопнул и размешался. Пока мама Татаба стояла возле нашего будущего огорода, я пялилась на ее мертвый глаз, а она – на моего папу.

– Это для чего вы тут копаете? Собираете червей? – спросила она, слегка покачав головой и продолжая наблюдать за папиной работой взглядом, который он называл «острым односторонним прожектором». Эмалированный таз на ее голове даже не качнулся – как огромная парящая корона.

– Мы культивируем землю, сестра, – ответил он.

– Вон то дерево, брат, оно кусается, – произнесла она, указывая узловатой рукой на маленькое дерево, какое папа выкорчевывал со своего огородного участка. Белая жидкость сочилась из рассеченной коры. Он вытер ладони о брюки.

– Ядовитое дерево, – уныло добавила она, с нисходящей интонацией, словно все деревья ей опостытели.

Папа снова промокнул лоб и принялся рассказывать притчу об одном горчичном зернышке, упавшем на бесплодную почву, и другом, упавшем на почву плодородную. Я вспом-

нила яркие остроносые бутылочки с горчицей, мы в изобилии потребляли ее с венскими сосисками на церковных ужинах – там, далеко-далеко от всего, что когда-либо доводилось видеть маме Татабе. Делом папиной жизни, специально для него созданным, было нести слово Божие в такие места, как это. Мне хотелось обнять его жилистую шею и погладить по растрепанным волосам.

Мама Татаба показала на красную глину.

– Нужно делать горбы.

Папа стоял на своем, высокий, как Голиаф, и чистый душой, как Давид. Тонкая пленка красной пыли покрывала волосы, брови и край мощного подбородка, придавая ему вид человека жестокого, что совсем не соответствует его характеру. Он провел своей большой ладонью по виску, где волосы были подстрижены коротко, потом по взъерошенной шевелюре, где мама оставляла их более длинными. При этом продолжал глядеть на маму Татабу с христианским смирением, мысленно формулируя ответ.

– Мама Татаба, – наконец сказал он, – я возделываю землю с тех пор, как научился ходить следом за отцом.

Что бы он ни говорил, даже что-то совсем простое насчет машины или починки водопровода, у него все облекалось в выражения, какие можно было истолковать как духовное наставление.

Плоской голой ступней мама Татаба лягнула землю и посмотрела на нее с отвращением.

– Тут ничего не вырастет. Нужно делать горбы, – объявила она и, развернувшись на пятках, пошла в дом помогать нашей маме обрызгивать пол разведенным в воде средством, чтобы убить личинки глистов.

Я была потрясена. В Джорджии я видела людей, которых папа сердил или даже пугал, но чтобы кто-нибудь относился к нему с пренебрежением – никогда.

– Что она имеет в виду под «делать горбы»? – спросила я. – И почему думает, будто дерево может тебя укусить?

Он не выказал и намека на беспокойство, хотя волосы вспыхнули от луча дневного солнца, будто загорелись.

– Лия, наш мир исполнен тайны. – Таков был его ответ.

Среди африканских тайн были те, что сразу себя обнаруживали. На следующее утро папа проснулся с ужасной сыпью на руках – предположительно от дерева, которое кусается. Даже его правый, здоровый глаз, вокруг которого он вытирал пот, заплыл так, что совсем не открывался. Желтый гной сочился из исполосованной шрамами кожи. Когда мама смазывала ему раны, он рычал от боли. Сквозь закрытую дверь их спальни мы слышали, как папа кричал:

– Нет, ты скажи, откуда это? О Господь всемогущий, Орлеанна! Почему на меня обрушилось это проклятие, если такова была воля Божья – возделывать эту землю!

Дверь со стуком распахнулась, и папа вылетел из спальни. Мама бежала за ним с бинтами, но он грубо отмахнулся

от нее, выскочил на крыльцо и стал нервно расхаживать по нему. Вскоре он вернулся и позволил ей полечить его. Маме пришлось обернуть руки отца чистыми тряпочками, прежде чем он смог взять в них вилку или Библию.

Сразу после молитвы я пошла посмотреть, как там растет наш огород, и была поражена, увидев, что мама Татаба подразумевала под «горбами». Они напоминали могильные холмы, длина и ширина которых соответствовала средним размерам покойника. Она за одну ночь переделала наш огород, устроив на нем восемь аккуратных погребальных холмов. Я побежала за папой, он явился быстро, как будто я обнаружила гадюку, которую следовало немедленно обезглавить. К тому времени он кипел от раздражения. Потом долго и мучительно щурил свой больной глаз, чтобы различить место, на каком находился наш огород. А после этого мы вдвоем молча снова сгладили его, сделав плоским, как Великие равнины. Я орудовала тяпкой, щадя папины пострадавшие руки, указательным пальцем проводила длинные прямые борозды, и мы бросали в них наши драгоценные семена. В конце каждой борозды втыкали насаженный на палку яркий пакетик, чтобы знать, где что посеяно: кабачки, бобы, тыквы для Хэллоуина...

Через несколько дней, как только папа вновь обрел самообладание и оба глаза, он заверил меня, что мама Татаба не хотела разрушить наш показательный огород. Существуют местные традиции, сказал он. В нашем служении нам пона-

добиться терпение.

– Она просто по-своему пыталась помочь, – объяснил он.

Вот что я больше всего люблю в папе: как бы плохо ни оборачивались дела, он в конце концов найдет в себе милосердие, чтобы успокоиться и простить. Люди считают его излишне суровым и наводящим страх, но это потому лишь, что он наделен даром пронизательности и душевной чистоты. Отец был избран для жизни-испытания, как Христос. Поскольку он первым видит пороки и грехи, ему и приходится выносить приговор. И в то же время отец готов признать, что в душе каждого грешника живет стремление к спасению. Я знаю, что скоро, когда лучше постигну тайну Духа Святого, заслужу его искреннее одобрение.

Не всем дано это видеть, но у моего папы сердце такое же большое, как руки. И он очень мудрый. Он никогда не был одним из тех неотесанных священников, которые призывают пороть детей и поощряют всякие предрассудки. Мой папа верит в просвещение. В детстве он сам научился читать Библию на иврите, а перед тем как отправиться в Африку, заставлял нас изучать французский, чтобы приносить пользу нашей миссии. Отец уже побывал в очень многих местах, включая другие заморские джунгли, на Филиппинах, где участвовал во Второй мировой войне и был ранен. Так что он может позаботиться обо всем.

Рахиль

К нашему конголезскому пасхальному воскресенью обновок для девочек Прайсов не предвиделось, это уж как пить дать. Мы топали в церковь в своих старых туфлях и платьях, в которых ходили и во все наши африканские воскресенья. Никаких, разумеется, белых перчаток. И прихорашивания, потому что единственным зеркалом в доме было мое ручное зеркальце в оправе под слоновую кость, привезенное из дома, и мы вынуждены были им пользоваться. Мама поставила его на столе в гостиной, прислонив к стене, и мама Татаба каждый раз, проходя мимо, взвизгивала, будто ее змея укусила. Итак, пасхальное воскресенье в перепачканных землях полуботинках на низком каблуке – чудесный вид! Что касается моих сестер, то, надо заметить, им это безразлично. Руфь-Майя – из тех, кто и на собственные похороны надела бы закатанные джинсы «Блю белл», близняшкам тоже всегда было безразлично, как они выглядят. Они так насмотрелись друг на друга еще до рождения, что всю оставшуюся жизнь готовы ходить мимо зеркал.

Кстати, об одежде. Видели бы вы, в чем ходят конголезцы! Дети – во всякой всячине из баптистской благотворительной помощи, а то и вовсе ни в чем. Цветовые сочетания – не здешний конек. Взрослые мужчины и женщины, похоже, полагают, что красная клетка и розовый цветочный рисунок прекрасно дополняют друг друга. Женщины носят канги из одной ткани, а поверх них оборачиваются другой. Никаких джинсов или брюк – ни при каких условиях. Грудь, заметьте,

могут развеяться на ветру, а вот ноги должны быть спрятаны, это – совершенно секретно! Когда мама вышла из дома в черных брюках-капри, они глазели на нее с открытыми ртами. Один мужчина из-за этих маминых брюк врезался в дерево прямо перед нашим домом и выбил себе зуб. Женщины должны одеваться все одинаково. Но мужчины – о, это целая прорва вариантов одежды разных цветов. Некоторые надевают длинные рубахи из тех же тканей с цветочным рисунком, какие носят женщины, или наматывают на себя рулон материи, перекидывая его через плечо, – в стиле «Геркулес». Носят рубашки на пуговицах в американском духе с шортами грязно-серых или тускло-коричневых тонов. Мужчины поменьше даже щеголяют в нижних рубашках с детским рисунком, и никто, похоже, не видит в этом ничего странного. Тот, кто выбил зуб, был в фиолетовом, с металлическими пуговицами, наряде, который напоминал выкинутую на помойку униформу какого-нибудь швейцара. Что же касается аксессуаров, то не знаю, с чего и начать. Популярны сандалии из автомобильных покрышек. А также допотопные броги с загнутыми мысами, черные резиновые галоши без застежки, хлопающие на ходу, или ярко-красные резиновые шлепанцы, или босые ноги – причем все это может сочетаться с любой перечисленной одеждой, а также с солнцезащитными очками, простыми очками, шляпой, непокрытой головой – с чем угодно, даже с вязаной шерстяной шапкой с пумпоном на макушке или женским ярко-желтым беретом. Все эти чудеса

– и еще много чего – я видела собственными глазами. Отношение к одежде такое: если у тебя это есть, почему бы не надеть? Многие мужчины ходят по своим ежедневным делам, вероятно, готовясь к неожиданной снежной буре, а другие надевают на себя шокирующе мало: пара шортов, и все. Когда смотришь вокруг, создается впечатление, будто эти мужчины собрались на разные вечеринки, каждый на свою, а потом вдруг их согнали в одно место.

Вот таким пасхальное воскресенье было в нашей церкви. Впрочем, и сама церковь едва ли предназначалась для кринолинов и лакированной обуви. Стен практически не было. Птицы могли свободно залететь сюда и принять твои волосы за свое гнездо. Папа соорудил алтарь из пальмовых листьев, он выглядел вполне *претензательно*, в деревенском стиле, но на полу все равно были угли и обгоревшие круги от костра, который нам устроили в первый день в качестве праздничного приветствия. Они вызывали неприятные ассоциации с Содомом, Гоморрой и тому подобным. Я до сих пор давлюсь при воспоминании о козьем мясе. Я его тогда так и не проглотила. Целый вечер продержала во рту и выплюнула по дороге домой.

Ну ладно, пришлось обойтись без нового платья. Но мне даже не разрешалось пожаловаться на это – догадайтесь почему. Это вообще-то не было настоящей Пасхой. Мы явились сюда прямо в разгар лета, задолго до ближайшего праздника. Папа был разочарован данным обстоятельством, по-

ка не сделал поразительного для века высоких скоростей открытия: дни и месяцы для людей в этой деревне ровным счетом ничего не значат. Они не отличают воскресенья от вторника, пятницы или скончания века! Считают только до пяти, потом наступает базарный день, а затем все начинается сначала. Один мужчина из папиной паствы признался ему: их всегда озадачивало в христианах то, что у них вместо базарного дня – постоянно церковные. Это нас, конечно, рассмешило. В общем, папа ничего не терял, установив собственный календарь и полагаясь на него. Пасха – Четвертого июля. А почему бы нет? Он объяснил, что ему нужна исходная точка, чтобы запустить работу церкви.

Наша поддельная Пасха была пышным празднеством, организованным папой и всеми, кто был готов поддержать его энтузиазм. Пока, в течение первых недель нашего пребывания в Киланге, посещаемость церкви характеризовалась почти полным отсутствием прихожан. Поэтому папа замыслил это торжество как впечатляющий старт последующего взлета. Четверо мужчин, включая того, что в униформе швейцара, и какого-то одноногого, исполняли роли солдат и несли настоящие копья. (Женщины службы практически не посещали, и залучить их в исполнители возможным не представлялось.) Сначала мужчины желали, чтобы кто-нибудь играл роль Иисуса и восставал из мертвых, однако папа этому воспротивился принципиально. Тогда они просто оделись наподобие римских стражников и стояли вокруг могилы, хохоча

от своей языческой радости, что им удалось убить Бога, а во втором акте прыгали вокруг нее, демонстрируя великое смятение оттого, что нашли камень отваленным от входа в пещеру.

Мне не хотелось смотреть на этих мужчин, участвующих в представлении. Начать с того, что мы не привыкли к африканской расе, поскольку там, у нас дома, ее представители держались в своих районах города. Но здесь, естественно, все было «их районом». К тому же участники данного торжества доводили все до предела. По-моему, не так уж нужно подчеркивать свою африканскость. На их черных руках было множество стальных браслетов, вокруг талии кое-как заткнуты свободные, развевающиеся полотнища ткани. (Даже у того, на деревянной ноге!) Они вбежали, вернее, припрыгали в церковь, неся те же тяжелые копья, какими в последующие дни недели будут убивать животных. Мы знали, что они это делают. Каждый день их жены подходили к нашему дому с целыми оковалками чего-то, убитого не более десяти минут назад, – еще кровь не перестала капать. Предполагаю, по папиному замыслу, к окончанию великой миссии его дети должны были научиться есть мясо носорога. Антилопье уже более-менее стало нашим хлебом насущным. Нам начали приносить его с самой первой недели. Мама Татаба торговалась с женщинами перед входом, а затем возвращалась к нам, воздев кверху, как боксер-чемпион, тощие руки, в которых держала наш обед. Господи, разбудите меня, когда все

это закончится! Затем она топала в кухонный домик и разводила такой гигантский костер в железной печке, что ее можно было принять за стартовую площадку космической ракеты, только что запущенной с мыса *Карниверал*¹⁴. Мама умеет приготовить все что угодно, живое или мертвое, но обезьяну с мертвой полуулыбкой на губах – хвала Небесам – все-таки отвергла. Она попросила маму Татабу ограничиться тем, что меньше напоминает нам подобных.

В общем, когда мужчины с испачканными кровью копьями прыгали по проходу, рассекавшему пополам наше пышное пасхальное торжество, это, безусловно, являло собой прогресс, однако не было тем, на что папа надеялся. Он рисовал в своем воображении крещение. Весь смысл июльской Пасхи состоял в призыве к покаянию, после него веселая процессия, с детьми, одетыми во все белое, должна была проследовать к реке для крещения. Папа стоял бы по пояс в воде, как Иоанн Креститель, с простертой рукой, и во имя Отца и Сына и Святого Духа погружал бы их под воду, одного за другим. Реке предстояло до краев заполниться очищенными душами.

Вдоль деревни протекает ручеек с маленькими заводями, в нем люди стирают одежду и из него берут воду для питья, но он даже отдаленно не так глубокий и широкий, как требуется

¹⁴ Со свойственным ей невежеством Рахиль часто неправильно произносит «трудные слова» – в данном случае название мыса Канаверал. Получившееся у нее слово «Карниверал» невольно ассоциируется с латинским *Carnivora* – плотоядные или *хищные*.

для подobaющего эффекта крещения. Папе нужна была широкая Куилу, не меньше. Я точно знала, как он представлял церемонию. Зрелище должно было быть действительно впечатляющим.

Мужчины сказали: нет, этого не будет. Женщины, по слухам, были так настроены против макания в реку, что в тот день держали детей как можно дальше от церкви. Задуманные папой драматические моменты торжества большей частью килангцев оценены не были. Притом что мы с сестрами, мама и мама Татаба были единственными присутствовавшими особами женского пола, а мужчины, способные ходить, были заняты в пьесе, гораздо большая, чем хотелось бы, часть аудитории либо предавалась мечтам наяву, либо разглядывала содержимое собственных ноздрей.

Вместо крещения папа заманил людей как можно ближе к реке старым испытанным способом: церковным ужином. Мы устроили пикник на берегу Куилу, которая сильно пахла тиной и дохлой рыбой. Семьи, которые не переступали порога церкви, где, кстати, за неимением двери никакого порога не было, сочли возможным присоединиться к нему. Естественно, поскольку значительную часть еды принесли мы. Видимо, они принимают нас за коллективного Санта-Клауса: каждый день дети приходят к нам просить еду и вещи, а мы сами бедны, как церковные мыши! Одна женщина, которая пыталась продать нам самодельные плетеные корзины, заглянула в дверь, увидела ножницы и без церемоний попросила отдать

их ей! Только представьте эту наглость!

Итак, все чинно явились на пикник: женщины с головами, замотанными набивной тканью, как деньрожденные подарки, дети в том, что нашлось, – да и то наверняка лишь ради нас, после того как папа вспылил из-за местного дресс-кода, – но почему-то они все равно выглядели голыми. Многие женщины принесли и своих новорожденных – крошечные желтовато-коричневые сморщенные существа в огромных тюках, навороченных из кусков материи и одеял, и даже в малюсеньких шерстяных шапочках – и это при такой-то жаре! Полагаю, для того, чтобы показать, как они ими дорожат. Посреди всей этой пыли и грязи, в отсутствие хотя бы чего-нибудь нового и яркого, новорожденный воспринимался как большое событие.

Разумеется, все глазели на меня, как они это делают всегда. Я – самая блондинистая из блондинок. У меня сапфирово-синие глаза, светлые ресницы и платиновые волосы до пояса. Они такие тонкие, что приходится пользоваться шампунем «Брек» со специальной формулой, и я даже думать не хочу о том, что будет, когда закончится единственная бутылка, которую папа позволил взять с собой. Что же мне тогда, отбивать волосы камнем, как делает мама Татаба, стирая наше белье? Восхитительно! Конголезцы по собственной инициативе вряд ли способны произвести что-нибудь для волос – половина из них вообще лысые, как жуки, даже девушки. Как-то не по себе делается, когда видишь уже довольно

взрослую девочку в пышном платье и совсем без волос на голове. В результате они так завидуют моим волосам, что нередко подходят и дерзко дергают их. Удивительно, но мои родители спускают им это. Порой они бывают такими строгими, что с равным успехом можно было бы быть дочерью какого-нибудь коммуниста, но когда доходит до чего-то, на что ты действительно хотел бы, чтобы они обратили внимание... Ну, что поделаешь? Вероятно, родительская мягкотелость теперь норма.

Пасхальный пикник на Четвертое июля тянулся целую вечность, как нескончаемый конголезский день. Берег реки, хотя издали смотрится живописно, оказывается вовсе не таким приятным местом, стоит лишь к нему приблизиться: осклизлые вонючие берега, опоясанные спутанными зарослями кустов с кричаще оранжевыми цветами, такими огромными, что, если бы вы попробовали заткнуть один из них за ухо, как актриса Дороти Ламур, выглядели бы так, будто на ухе у вас висит меламиновая ¹⁵ супница. Куилу – не то что река Иордан, широкая и прохладная. Куилу – ленивая река, теплая, как вода в ванне, и говорят, что крокодилы ворочаются в ней, словно бревна. Противоположный берег тоже не кисельный, там вонючие джунгли простираются в дрожащем мареве так далеко, как далека теперь память о пикниках, какие устраивали в Джорджии. Я закрыла глаза и представила содовую воду в удобной одноразовой банке. Мы ели жарен-

¹⁵ Термореактивный пластик, легкий и твердый, имеющий вид керамики.

ных кур, от начала – с отлова и отрубания голов – до конца приготовленных нашей мамой по южному рецепту. Это были те самые куры, за которыми Руфь-Майя гонялась по дому утром, до посещения церкви. Мои сестры хандрили, а я радостно грызла куриную ножку! Учитывая мою ситуацию, я не была расположена тревожиться по поводу разных аспектов смерти на этом пикнике. Просто была благодарна за любимый вкус хрустящей курочки, которая связывала эту ползучую жужжащую жару с настоящим летом.

Куры явились для нас еще одним сюрпризом, наряду с мамой Татабой. Когда мы приехали, нас ждала целая стая черно-белых пестрых кур. Они вырывались из курятника, рассаживались на деревьях и вообще везде, потому что после отъезда брата Фаулза, в промежутке между миссиями, научились находить себе укромные местечки, нести яйца и высиживать потомство. Деревенские жители хотели помочь нам, отловив и съев часть кур до нашего приезда, но, уверена, мама Татаба отгоняла их палкой. Идея пустить часть птиц на то, чтобы накормить деревню в порядке задабривания, принадлежала маме. В день пикника она уже на рассвете принялась убивать и жарить кур. А во время самого пикника двигалась сквозь толпу, раздавая куриные голени и бедра детям, которые были на седьмом небе от счастья, облизывали пальцы и распевали гимны. Несмотря на то, что мама, как рабыня, целое утро простояла над раскаленной плитой, папа едва ли заметил, как она расположила к себе сборище. Его мыс-

ли витали за два миллиона миль отсюда. Он стоял, уставившись на реку, где никто не собирался подвергнуться окунанию. По воде проплывали лишь большие «матрасы» из спутанных растений, по которым на тощих лапах важно расхаживали птицы, несомненно, воображавшие себя царицами мира.

Я очень сердилась на папу – прежде всего за то, что он нас сюда привез. Но было ясно, что папа и сам сильно расстроен. Когда он что-то вбивает себе в голову, готовьтесь к тому, что он это осуществит. Пикник был праздником, однако не таким, каким папа его задумал. С религиозной точки зрения он не имел никакого смысла.

Руфь-Майя

Если человек голодает, почему у него такой большой живот? Не понимаю.

Детей тут зовут Тумба, Бангва, Мазузи, Нсимба и другими подобными именами. Один из них чаще всего приходит к нам во двор, его имени я вообще не знаю. Он приблизительно того же возраста, что и мои сестры, но на нем нет ничегошеньки, кроме старой серой рубахи без пуговиц и висящих мешком серых подштанников. У него огромный круглый живот с пупком, торчащим, как черный стеклянный шарик. Я узнаю его по рубахе и подштанникам, а не по пупку. Пупки у них у всех одинаковые. Я думала, что они толстые, но папа сказал, что это не так. Они очень голодные и не по-

лучают витаминов. И все равно Бог сделал их такими, что они выглядят толстыми. Наверное, это им за то, что они – племя Хама.

Одна из них – девочка, потому что на ней платье. Оно ярко-красное в клетку и разорвано на груди так, что один сосок торчит наружу, но она так и бегаёт в нём, будто ничего не замечает. У неё и туфли есть. Раньше они были белыми, а сейчас стали цвета грязи. Здесь все белое перестаёт быть белым. Даже белый цветок на кусте какой-то тусклый.

Я привезла с собой только две игрушки: ершик для чистки трубки и плюшевого обезьяна. Обезьяна уже нет. Я оставила его на веранде, а когда вышла на следующее утро, его уже не было. Кто-то из детей украл его, это большой грех. Папа сказал, чтобы я простила их, поскольку они не ведают, что творят. А мама объяснила, что это и грехом-то назвать нельзя при такой нужде, как у них. В общем, я теперь не знаю, было это грехом или нет. Но я, конечно, разлилась, и у меня случился приступ. И я нечаянно написала в штаны. Моего обезьяна звали святой Матфей.

Взрослых мужчин-конголезцев называют папа Такой-то. Тот, которого зовут папа Ундо, у них главный. Он одевается полностью: кошачьи шкуры, шляпа и все такое. Папе пришлось сходить к нему, чтобы заплатить долг дьяволу ¹⁶. А все женщины – мамы Такие-то, даже если у них нет детей. Как

¹⁶ По-детски искаженное «give the devil his due» – отдать должное дьяволу (врагу).

мама Татаба, наша кухарка. Рахиль называет ее мама Тейтер Тотс ¹⁷. Только она их не готовит. Жаль.

Женщина, живущая в маленьком домике рядом с нами, это мама Мванза. Когда-то у нее загорелась крыша, упала и сожгла ей ноги, но остальное сохранилось. Это случилось много лет назад. Мама Татаба рассказывала про это нашей маме в кухне, а я услышала. Они не разговаривают о неприятных вещах в присутствии моих сестер, а я могу слушать долго-долго, пока беру банан и чищу его. Мама Татаба вешает огромную банановую семью высоко в углу, чтобы пауки-тарантулы, которые любят устраивать себе дом внутри, могли входить и выходить, когда им вздумается. Я сидела на полу тихо-тихо и чистила банан, как делал бы святой Матфей, если бы был настоящей обезьяной и его бы не украли, и слышала, как они разговаривали об этой женщине, которая загорелась. Крыши горят, потому что сделаны из палок и соломы, как у трех поросят. Волк может разозлиться, дунуть и свалить дом. Даже наш, хотя он надежнее других, однако все равно не кирпичный. Ноги у мамы Мванзы сгорели не совсем, но похоже, как будто она сидит на подушке или еще на чем-то, завернутом в мешок. А передвигаться ей приходится на руках. У нее внутренняя сторона ладони выглядит как пятка, только с пальцами. Я туда пошла и хорошенько рассмотрела ее и девочек, совсем без одежды. Она была очень добра и дала мне пососать кусочек апельсина. Мама не знает.

¹⁷ Название готовых гарниров из картофеля.

Мама Мванза едва не сгорела до смерти, но потом ей стало лучше. Моя мама говорит, что бедной женщине не повезло, поскольку теперь ей приходится заботиться о муже и семерых или восьмерых детях. Им безразлично, что у нее нет ног. Для них она просто мама и – где обед? И остальным конголезцам тоже наплевать. Они даже не притворяются, она для них – обычный человек. Они и глазом не моргнут, когда мама Мванза ковыляет мимо на руках, направляясь в поле или к реке постирать вместе с другими женщинами, работающими там каждый день. Все вещи она несет в корзине на голове. Корзина такая же большая, как мамин белый бак для грязного белья там, дома, и всегда кажется, будто там у нее тысяча вещей. Когда ковыляет по дороге, никто даже не расступается. Другие женщины тоже носят корзины на головах, так что на маму Мванзу никто не пялится.

На кого они пялятся, так это на нас. А больше всего на Рахиль. Сначала мама с папой считали, что Рахили пойдет на пользу, если ее щелкнуть по носу разок-другой. Папа сказал маме: «Девочка не должна думать, будто она лучше других, потому что у нее волосы светлые, как шерсть у белого кролика». Я передала это Лие, и она громко хохотала. Я тоже блондинка, но не как белый кролик. Мама называет меня «клубничной блондинкой». В общем, надеюсь, меня не будут щелкать по носу разок-другой, как Рахиль. Клубнику я люблю больше всего на свете. Кролика можно держать в доме как домашнее животное, а можно и съесть. Бедная Ра-

хиль! Каждый раз, когда она выходит из дому, конголезские дети бегут за ней по дороге, догоняют и дергают за длинные белые волосы, желая посмотреть, не снимаются ли они. Порой так делают даже взрослые. Наверное, у них это нечто вроде охоты. Лия сказала мне, мол, они не верят, будто это настоящие волосы, и думают, что она что-то странное намазывает на голову вместо волос.

Еще Рахиль жутко обгорает. Я тоже обгораю, однако не так, как она. Любимый цвет у Рахили розовый, и это хорошо, ведь теперь она и сама розовая. Папа говорит, что каждой молодой женщине следует учиться смирению и Бог для каждой выбирает свой особый способ.

А мама возразила: «Неужели обязательно смотреть на нас как на ошибку природы?»

Рахиль всегда была принцессой, а теперь она – ошибка природы. Ада была единственной из нас, с кем что-то было не так. Но здесь никто не пялится на Аду, разве что совсем чуть-чуть, поскольку она белая. Всем безразлично, что у нее половина тела плохая, потому что у них есть свои дети-инвалиды, или безногая мама, или один слепой глаз. Выгляни за дверь и увидишь, что мимо проходит кто-нибудь, у кого чего-нибудь недостает, но их это ничуть не смущает. Они дружелюбно помашут тебе обрубком, если он у них есть.

Поначалу мама ругала нас, если мы глазели и показывали пальцами на людей, и постоянно шипела: «Девочки, неужели я должна каждую минуту напоминать вам, чтобы вы не

плялились?» Теперь мама и сама смотрит на них. Порой она говорит нам или, может, себе: тетя Зинзана – это та, у кого нет пальцев. Или: маму Нгузу я узнаю по опухоли с гусиное яйцо под подбородком.

А папа замечает: «Они живут во тьме. С искалеченными телами и душами, не представляю, как их можно исцелить».

Мама отвечает: «Ну, вероятно, у них другой взгляд на свои тела?»

Папа считает, что тело – храм. У мамы иногда появляется этот особый голос: она не то чтобы огрызается, но почти. Вот она шьет занавески из платяной ткани, чтобы на нас не глазели в окна, и у нее во рту булавки. Мама вынимает их изо рта и произносит: «Здесь, в Африке, этот храм вынужден каждый день проделывать бог знает какую уйму работы, Натан. Тут им приходится пользоваться собственными телами так, как мы дома пользовались разными вещами, – например, одеждой или садовыми инструментами. Если вы, сэр, протираете ткань своих брюк на коленях, то они вынуждены протирать собственные колени! – Папа сурово смотрит на маму за то, что она ему возражает. – Вот так-то, сэр, мне это представляется. Таковы мои наблюдения. По-моему, их тела просто изнашиваются, как наши вещи».

На самом деле мама не огрызалась. Она называет отца «сэр», как называет нас «сладкая» или «милая», стараясь быть ласковой. И все же. Если бы я так ему ответила, он бы заявил: «По лезвию ходите, юная леди». Папа собирал-

ся и маме ответить нечто подобное. Он размышлял об этом, стоя в проеме входной двери, солнце с трудом пробивалось внутрь, обтекая его со всех сторон. Папа такой большой, что занимал почти весь проем, а голова почти касалась притолоки. Мама, сидевшая за столом, снова принялась за шитье.

Вскоре отец произнес:

– Орлеанна, человеческое тело гораздо более ценно, чем пара брюк из «Сирса и Робака». Надеюсь, ты понимаешь разницу. – Он взглянул на нее, и его зрячий глаз сделался злым. – Уж ты-то как никто другой.

Она покраснела и заметила:

– Даже ценная вещь со временем изнашивается. Учтите, чему им тут приходится противостоять, вероятно, это и не такая плохая для них жизненная позиция. – Мама опять взяла в рот булавки, чтобы ничего больше не говорить.

Отец молча отвернулся и вышел. Не любит, когда ему перечат. А если бы это была я – о Боже! Этот ремень для правки бритвы так обжигает – ложишься в постель, а ноги исполосованы, как кожа у зебры.

Я вам скажу, что папа протер до крайности: свое старое зеленое кресло-качалку у нас в гостиной, когда мы жили в Вифлееме, штат Джорджия. На нем образовалась белая проплешина в форме его зада. И никто, кроме отца, в этом кресле не сидел. А он всегда сидел по вечерам и читал. Изредка он зачитывал нам вслух истории из Священного Писания. Я расчесывала свои ссадины и думала о комиксах, а не об

Иисусе, и Он это видел. Но Иисус меня любит, и одно я знаю точно: никто не имеет права сидеть в кресле-качалке, кроме папы.

Мама сообщила, что в нашем доме в Вифлееме живет другой человек с женой и двумя маленькими дочерьми. На время нашего отъезда он будет священником вместо папы. Надеюсь, они помнят про папино кресло, потому что, если на нем кто-нибудь будет сидеть, тогда помилуй их Бог. Они свое получают.

Ада

В этом не было ничего ни дьявольского, ни божественного; просто оно распахнуло тюремные двери моего сознания, и то, что находилось за ними, вырвалось наружу, как пленники города Филиппы. Так я чувствую. Жизнь в Конго распахнула двери моего внутреннего самоощущения и выпустила наружу всех тамошних скверных испорченных Ад.

Чтобы позабавить мою порочную Аду, я, когда мы делали домашние задания, написала по памяти цитату на маленьком треугольном листке бумаги и передала его Лие с вопросом: «Из какой книги Библии?» Сестра мнит себя папиной первой ученицей в вопросах, касающихся Библии. Ученица-звезда. Мисс Учедта прочитала цитату, торжественно кивнула и написала внизу: «Евангелие от Луки. Какой стих – не помню».

Ха! Я умею хохотать, как сумасшедшая, внешне даже не

улыбаясь.

Это цитата из «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда», которую я перечитывала много раз. Меня непреодолимо влекут темные желания доктора Джекила и скрюченное тело мистера Хайда.

До отъезда из Вифлеема я успела прочесть в его мрачных библиотеках «Путешествие пилигрима» Джона Баньяна, «Потерянный рай» Джона Милтона (там сюжетные линии слабее, чем в «Докторе Джекиле») и много других книг, о чем папа понятия не имел, включая стихи мисс Эмили Дикинсон, а также «Гротески и арабески» Эдгара Аллана По. Я обожаю мистера По и его Ворона-предсказателя: «Никогда!» – «Ад Гокин!»

Заметила мама, сказала, что это дурные книги, и начала нам с Лией вслух читать псалмы и разную «семейную классику». У мамы языческое отношение к Библии. Она любит повторять такие фразы, как «Окропи меня иссопом»¹⁸, или «Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили меня»¹⁹ или «...и ты снял с меня вретиче и перепоясал меня веселием»²⁰. Похоже, не будь она обременена высокой миссией материнства, бегала бы по полям во вретиче, в поисках иссопа, среди тучных тельцов. Особенно мама была озабочена нашим с Лией статусом особых детей. Когда

¹⁸ Пс. 50:9.

¹⁹ Пс. 21:13.

²⁰ Пс. 29:12.

мы поступали в первый класс, нас экзаменовала старая дева директриса Вифлеемской начальной школы мисс Лип. Она объявила, что мы одаренные: Лия – поскольку легко набрала поразительное число баллов за тесты на чтение-понимание, а я – по ассоциации, ведь предполагалось, что у меня такой же мозг в той мере, в какой работают его неповрежденные части. Для мамы это стало шоком; до этого момента она не помышляла для нас об образовании, превышающем названия диких растений, растущих вдоль канав, по которым мы брели босиком (когда испепеляющий папин взгляд не был направлен на нас: «солнце да не зайдет во гневе вашем» ²¹) из дома приходского священника в угловой магазинчик. Мое первое воспоминание о маме: она, синеглазая, сама еще девочка, хохоча, лежит в траве, перекатываясь с одного бока на другой, а Рахиль и Лия украшают ее драгоценностями из соцветий лилового клевера. Как только мы с Лией оказались одаренными, все переменилось. Данный вердикт наших учителей будто отрезвил ее, словно Бог назначил ей особую кару. Мама сделалась скрытной и деятельной. Прекратила наши прогулки на природе и взялась за дело, вооружившись читательским билетом в библиотеку.

О секретности она беспокоилась зря. Впервые услышав то, что сказала мисс Лип, папа лишь закатил глаза – будто ему сообщили, что во дворе две собаки насвистывают «Дик-

²¹ Послание к Ефесеянам 4:26.

си»²², – и предупредил маму, чтобы она не пренебрегала Божьей волей, ожидая для нас слишком много.

– Посылать девочку в колледж – все равно что лить воду себе в туфли, – все еще любит он вставить при каждом удобном случае. – Трудно понять, что хуже: видеть, как она вытекает и вода пропадает зря, или как она остается внутри и портит туфли.

В общем, у меня не будет возможности испортить свою кожу колледжем, но я всегда буду обязана мисс Лип тем, что она избавила меня от кучи отбросов, которую представляет собой наша начальная школа. Менее наблюдательный педагог поместил бы Лию в разряд одаренных, а Аду – в спецшколу для монголоидов и всех шестерых сосущих палец и оттягивающих уши детей вифлеемских Кроули, и проторчала бы я там, научившись только оттягивать собственные уши. Быдлоид-гориллоид-монголоид. У меня даже сохранилось дружеское расположение к этому миру с привкусом миндаля.

Сильно расстраивались вифлеемские матроны, наблюдая, как несчастное существо ковыляет в класс впереди их собственных детей, а там великолепно-быстро-ловко решает задачи по математике. В третьем классе я начала в уме подводить итог наших счетов в продуктовом магазине, молча записывать результат на бумажке и вручать его Делме Ройс быстрее, чем она успевала подсчитать общую сумму на кассовом

²² Американская народная песня; один из неофициальных гимнов южных штатов США.

аппарате. Это стало знаменитым аттракционом и всегда собирало множество зрителей. Меня просто притягивали эти звонкие свободные числа, которые следовало призвать к порядку. Никто, похоже, не понимал, что подсчет сумм требует лишь элементарных, основных навыков и концентрации внимания. Поэзия – это сложнее. И палиндромы с их совершенным, доставляющим удовольствие стилем: Аргентина манит негра! Ну и пусть впечатление производят унылые магазинные счета.

Мое хобби – игнорировать награды и собственное превосходство. Я могу читать и писать на французском языке, на котором в Киланге говорят все, прошедшие через школу Андердаунов. Моим сестрам не следует долго тянуть с изучением французского. Способность говорить, как я уже сказала, наряду с остальной жизненной акробатикой можно рассматривать в определенном свете как развлечение.

Когда я заканчиваю читать книгу от начала до конца, я читаю ее снова, от конца до начала. И это получается иная книга, задом наперед, и, читая ее, можно научиться чему-то новому.

Можете соглашаться или нет – ваше дело. Таков другой способ читать книгу, хотя мне говорят, что нормальному мозгу подобное недоступно: онпутсоден отэ угзом умоньламрон отч тяровог емн ятох угинк татич босопс йогурд вокат. Нормальный, как я понимаю, может видеть слова так, как я, только если они достаточно поэтичны: «Но ты тонка,

как ноты тон».

Мое собственное имя, как я привыкла думать, Сйарп Нелле Ада. Порой я его так и пишу, не задумываясь, а люди недоумевают. Для них я просто Ада или иногда для моих сестер – жуткая односложная А-и-да²³ – аскар-ида, гн-ида, паних-ида, хлам-ида, об-ида.

Я предпочитаю – Ада, читается туда и обратно, как я люблю. Я – идеальный палиндром. Саван на вас! На обложке блокнота наискосок написала в качестве предупреждения: «Болвана – в лоб!»

Свою сестрицу-близняшку я предпочитаю называть Спящая Лия, потому что с моей половины игрового поля, откуда обычно наблюдаю за ней, она напоминает сонную массу мышц, какой в сущности и является.

Конго – отличное место, чтобы научиться читать одну и ту же книгу много раз. Когда льет сильный дождь и мы на много часов оказываемся пленниками в собственном доме, мои сестры жутко скучают. Однако есть же книги! Звонящие слова на бумажной странице призывают мои глаза потанцевать вместе с ними. Любой другой продерется раз через книгу и тем ограничится, но Ада способна сделать в ней новые открытия, читая туда-сюда.

Когда сезон дождей настиг нас в Киланге, это стало насто-

²³ Аид (или Гадес) – в древнегреческой мифологии бог подземного царства мертвых и название самого царства мертвых.

ющим бедствием. Нас предупреждали, что в октябре следует ждать дождей, однако в конце июля – что не удивило в Киланге никого, кроме нас, – безмятежное небо вдруг разверзлось, обрушив на нас хляби свои. «Льет как из ведра», – говорила мама. Действительно, лило как из ведра, из бадьи, из цистерны. Такой дождевой чумы прежде мы не видели и даже не представляли у нас в Джорджии.

Сидя под карнизом крыльца, наш питомец Мафусаил-Метусела визжал, как человек, тонущий в клетке. Метусела – африканский серый попугай с изящной «чешуйчатой» головой, острым скептическим, как у мисс Лип, взглядом и алым хвостом. Живет во внушительной бамбуковой клетке высотой с Руфь-Майю. Его жилище представляет собой огороженное крепкими рейками треугольное пространство. Давным-давно кто-то выделил ему эти девятнадцать на тридцать шесть дюймов и предоставил в полное распоряжение.

Попугаи славятся своим долголетием, а африканские серые попугаи среди всех на свете птиц – лучшие мастера подражать человеческой речи. Слышал об этом Метусела или нет, но он говорит плохо. Целый день бормочет что-то себе под нос, как дедушка Уортон. В основном произносит что-то невнятное на киконго, но порой выкрикивает нечто бессвязное, как Ворон мистера По, по-английски. В первый дождливый день попугай поднял голову и пронзительно прокричал сквозь рев бури две свои лучшие фразы на нашем языке. Первую голосом мамы Татабы, с повелительной интона-

цией: «Вставайте, брат Фаулз! Вставайте, брат Фаулз!» А потом низким рокоchущим голосом: «Отвали к свиньям, Метусела!»

Преподобный Прайс в свою очередь поднял голову от стола, стоявшего у окна, и отметил слова «отвали к свиньям». Нравственно сомнительный призрак брата Фаулза навис над нами.

– Это, – заявил преподобный, – католическая птица.

Мама оторвала взгляд от шитья. Мы с сестрами заерзали на стульях, ожидая, что сейчас папа назначит Метуселе наказание в виде Стиха.

«Стих» – наше семейное проклятие. Других, счастливых детей могли просто выпороть за их прегрешения, однако нас, девочек Прайс, карали с помощью Библии. Преподобный смотрел на тебя пронзительно и объявлял: «Стих!» Затем медленно, пока ты извивался у него на крючке, писал на листке бумаги, например: «Иеремия 48:18». И тогда прощай на сегодняшний день солнечный свет или Братя Харди²⁴, потому что ты, бедная грешница, будешь до одурения переписывать своей левой, здоровой рукой Иеремию 48:18 – «Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь – обительница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои» – и еще тридцать девять последующих стихов. Сто полных строк будет переписано от руки, поскольку вину твою обличает только последний. В случае с

²⁴ Главные герои серии книг для детей и юношества «Тайны отважных ребят».

Иеремией 48:18 это стих 50:31 – «Вот. Я – на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего». Только дойдя до этой, сотой строки, ты поймешь наконец, что наказана за грех гордыни. Хотя могла об этом догадаться и раньше.

Порой отец заставляет нас переписывать из Библии «короля Якова», но предпочитает пользоваться американским переводом, куда входят его любимые Апокрифы. Заветное желание преподобного – чтобы все баптисты усвоили Апокрифы.

Кстати, интересно, неужели наш отец настолько хорошо помнит всю Библию, что может с ходу выбрать нужный назидательный стих и сделать обратный отсчет на сто предыдущих? Или просиживает ночи напролет, подбирая стих для каждого вероятного проступка, и складировает эти боеприпасы впрок для своих дочерей? В общем, это впечатляет не меньше, чем устный подсчет итоговой суммы в «Пигли-Вигли». Мы все, особенно Рахиль, живем в страхе перед проклятым Стихом.

Но что касается сквернословия Метуселы в тот первый дождливый день, то, повторю, птицу нельзя было заставить переписывать Библию. Забавно, Метусела был таким же исключением из правил преподобного, как те конголезцы, которых наш папа не мог подчинить себе. Метусела был хитрым маленьким представителем самой Африки, открыто жившим в нашем доме. Более того, он в нем поселился пер-

ВЫМ.

Мы слушали болтовню попугая, сидя невольными затворницами в доме, неудобно близко к папе. Пять часов наблюдали сквозь ливень за маленькими красными лягушками с длиннющими, как у персонажей комиксов, пальцами на лапах, которые облепляли окна и постоянно прыгали вверх по стенам. Наши всепогодные плащи висели на шести своих крючках; вероятно, они были рассчитаны на любую погоду, кроме этой.

Дом состоит из глинобитных стен и пальмовой соломенной крыши, но отличается от остальных домов в Киланге. Прежде всего, он больше, имеет просторную переднюю комнату и две спальни в глубине, одна из них напоминает больничную палату времен Флоренс Найтингейл, потому что заполнена койками под москитными сетками – для избыточного количества девочек в семье. Кухня – в отдельной хижинке позади главного дома. На расчищенной площадке за нею – уборная, торчит совершенно бесстыдно, несмотря на жуткие проклятия, которыми Рахиль осыпает ее каждый день. Там же неподалеку – курятник. Окна в нашем застеклены, сам он стоит на цементном фундаменте и имеет цементный пол. В остальных домах полы земляные. Мы видим, как женщины часто метут хижины и голые площадки перед ними метлами из пальмовых листьев, и Рахиль со своей обычной злобностью замечает, что подобный пол можно мести хоть до второго пришествия, он все равно никогда не будет чистым. Бла-

годарение Богу и цементу, наша семья от такой безысходности избавлена.

Стол в нашей передней комнате выглядит так, словно найден среди обломков кораблекрушения; и еще есть секретер с убирающейся крышкой (наверное, с того же потерпевшего крушение корабля), за которым папа сочиняет свои проповеди. У секретера деревянные ножки с чугунными «ступнями» в виде куриных лап, в каждой зажат стеклянный шарик, хотя три из них с трещинами, а один вообще потерялся и заменен осколком кокосовой скорлупы, чтобы поддерживать равновесие столешницы. В комнате наших родителей есть и другая мебель: деревянное бюро и старый кабинетный граммофон с неработающими внутренностями. Все это было привезено другими бесстрашными баптистами, побывавшими здесь до нас, правда, трудно понять – как; разве что вообразить некие иные средства передвижения, позволяющие пассажирам иметь при себе более сорока четырех фунтов багажа. Есть у нас обеденный стол и грубо сколоченный кухонный шкаф, набитый купленной на барахолке разномастной коллекцией стеклянных и пластмассовых тарелок и чашек, а также приборов, которых все равно на всех не хватает, поэтому мы, девочки, в процессе еды меняем друг у друга ножи на вилки. В шкафу еще есть старое треснутое блюдо – память о Международной ярмарке в Сент-Луисе, Миссури, и пластмассовая кружка с мышиными носом и ушками. И среди всего этого хлама – безмятежная, как Богородица в

хлеву, полном пастухов и покрытого стружьями скота, одна удивительно красивая вещь: большое овальное белое, расписанное нежно-голубыми незабудками блюдо из тонкого фарфора, такого тонкого, что сквозь него просвечивает солнце. Происхождение блюда неизвестно. Если бы это не было кощунством, мы бы ему поклонялись.

Снаружи к дому пристроено длинное тенистое крыльцо, наша мама на свой миссисипский манер называет его верандой. Мы с сестрами обожаем нежиться на нем в гамаках и даже в первый день ливня прятались там. Но ветер гнал косые струи дождя и туда, они поливали стены и бедного Метуселу. Когда его вопли сделались совсем уж невыносимо жалобными, мама с суровым выражением лица внесла клетку в дом и поставила на пол под окном, где попугай продолжил громко выкрикивать свои бессвязные комментарии. В добавку к папизму преподобный, вероятно, заподозрил это шумное существо еще и в скрытой женоподобности.

Перед закатом ливень наконец прекратился. Мир выглядел растоптанным и насквозь промокшим, но мои сестры вырвались из дому, чтобы посмотреть, что оставил нам потоп, визжа, как первые поросята, сбежавшие с ковчега. Низкое облако, висевшее в воздухе, было скоплением миллионов маленьких муравьиноподобных существ. Оно висело прямо над землей, издавая протяжный низкий гул, который наверняка было слышно даже на краю света. Когда мы от них отмахивались, их тельца производили шелкающие звуки. За-

державшись на краю двора, там, где покрытая жидкой грязью прогалина сползала по длинному поросшему травой склону, мы ринулись вниз и бежали, пока дорогу нам не преградили тысячи сплетенных древесных ветвей на краю леса: авокадо, пальмы, высокие заросли дикого сахарного тростника. Этот лес заслоняет нам вид на реку и пространство на том берегу. Единственная проселочная дорога огибает наш двор и тянется дальше, на юг, к соседней деревне; северный ее конец теряется в лесу. Хоть мы постоянно наблюдаем, как мама Татаба исчезает там, а потом целая и невредимая возвращается с полными ведрами воды, наша мама боится, что эта дорога может проглотить ее детей и не отдать их. Поэтому мы повернули обратно и потопали вверх по склону к двум цветущим кустам гибискуса, которые растут по обе стороны нашего крыльца.

Наша процессия выглядела как забавный десантный отряд одинаково одетых – в комбинированные кожаные полуботинки, рубашки с длинными рукавами и хлопчатобумажные брюки пастельных тонов, – но таких разных девочек. Лия шла первой, как всегда; наша богиня охоты – волосы цвета горностая, модная стрижка пикси, бьющая через край энергия, мышцы работают слаженно, как часовой механизм. За ней – остальные: Руфь-Майя с подпрыгивающими «хвостиками» волос, поспевающая изо всех сил, поскольку она самая младшая и верит, что последний станет первым. За ней Рахиль, царица Савская нашего семейства, моргающая сво-

ими длинными ресницами, встряхивающая длинными белыми волосами, словно соловая лошадь с белой гривой, какую она когда-то мечтала иметь. Царица Рахиль будто бы плыла по течению, витая мыслями где-то в другом месте. Почти шестнадцатилетняя, она была выше всего этого, однако не хотела, чтобы мы что-то открыли без нее. Последней плелась Ада-уродка, Квазимодо, волочившая правую половину тела позади левой под нескончаемый ритм шагов: левой... подтянуть, левой... подтянуть...

Таков наш обычный строй – Лия, Руфь-Майя, Рахиль, Ада, – не основанный ни на возрастном, ни на алфавитном порядке, однако сохраняющийся почти всегда, если только Руфь-Майя не отвлечется на что-нибудь и не выпадет из него.

Под кустом гибискуса мы обнаружили упавшее гнездо с утонувшими птенцами. Мои сестры разволновались при виде крохотных голеньких телец с крылышками, похожих на сказочных грифонов, и были потрясены фактом, что они мертвы. Потом мы увидели огород. Рахиль победно возопила, что он разрушен навсегда. Лия упала на колени, от имени нашего отца демонстрируя горе. Поток воды размыл плоские грядки, и семена плавали по поверхности, как сорвавшиеся с привязи лодочки. Мы находили их скопившимися в высокой траве у края дороги. Большинство из них успели прорасти за минувшие недели, но коротенькие корешки не сумели удержать их на плоском, как канзасская равнина, огороде предпо-

добного. Лия поползла на коленях, собирая ростки в подол рубашки, – вероятно, воображала, что так же делала в аналогичной ситуации Сакагавея ²⁵.

Позднее папа вышел оценить ущерб, и Лия помогала ему рассортировывать спасенные семена. Он заявил, что заставит их расти во имя Господа или посеет новые (преподобный, как всякий уважающий себя пророк, всегда имел какое-то количество их про запас), если только солнце когда-нибудь выйдет и высушит эту окаянную трясиину.

Эта парочка даже на заходе солнца не явилась в дом ужинать. Мама Татаба в мамином большом белом фартуке, который придавал ей неестественный и комичный вид, словно она исполняла роль горничной в пьесе, наклонившись над столом у окна, неотрывно наблюдала за их трудами, улыбаясь своей особой улыбкой – с опущенными уголками губ, и самодовольно поцокивала языком. Мы принялись за еестряпню – жареные бананы с такой роскошью, как консервированное мясо.

Вскоре папа отправил Лию домой, но еще долго после ужина мы слышали, как преподобный бил землю мотыгой, обрабатывая ее на новый лад. Было очевидно, что отец усвоил урок, хотя для этого потребовался потоп, и он никогда в жизни не признал бы, что это не его собственная идея.

²⁵ Единственная женщина в экспедиции Льюиса и Кларка. В дороге несколько раз болела, и Льюису с Кларком приходилось лечить ее, однако стойко перенесла все трудности, с грудным ребенком прошла с экспедицией весь путь до Тихого океана и вернулась назад.

В общем, Африка оказывала влияние на нашего отца. Он уже обустроивал огород высокими прямоугольными, защищенными от наводнения насыпями длиной и шириной с надгробный холм.

Лия

В жаркую погоду требуется всего пять дней, чтобы бобы «Кентуккское чудо» набрались вегетативной силы и проросли. Мы считали, будто это все, что требуется. Как только дожди ослабели, огород пышно разросся. Папа говорил, что любит просто стоять и наблюдать, как все растет, и я его понимала. Бобовые стебли вились вокруг вигвамов из веток, которые он для них соорудил, а потом колебались над ними выше и выше, как женские голоса в хоре, каждый из которых, соревнуясь с другими, стремится всех превзойти. Они доросли до ветвей ближних деревьев и вплелись в их кроны.

Тыквенные плети тоже приняли вид тропических растений. Листья на них выросли такими странно огромными, что Руфь-Майя, играя в прятки, могла сидеть под ними очень долго незамеченной, пока мы не сдавались и не прекращали поиски. Заглянув под них, рядом с широко раскрытыми голубыми глазами Руфи-Майи мы видели желтые цветки огурцов и кабачков в темноте густой листвы.

Мой папа следил за ростом каждого нового листочка и упитанного бутона. Я шла за ним следом осторожно, чтобы не затоптать ни одного ростка, и помогала ему строить креп-

кую баррикаду из жердей по периметру, чтобы животные из джунглей и деревенские козы не забрели в огород и не загубили нежные плоды, когда те появятся. Мама утверждает, что я сама веду себя как дикое животное, поскольку я девчонка-сорванец, однако по отношению к огороду всегда держусь уважительно. Папина преданность ему, наряду с его преданностью церкви, все прошлое лето служила якорем в моей жизни. Я видела, что он пробует на вкус «Кентуккское чудо» с тем же чувством, с каким чистая душа вкушает райские плоды.

В конце августа наступил день рождения Рахили, но сухая смесь «Бетти Крокер» подвела нас, хотя прежде не давала повода усомниться в ее высоком качестве.

Начать с того, что наша печка – хитроумное железное сооружение с такой необъятной топкой, что человек может при желании влезть в нее целиком. Однажды мама вытащила Руфь-Майю за руку, найдя ее внутри, отругала и напугала тем, что мама Татаба в очередном приступе активности может растопить плиту, не заметив там ребенка. Опасение не было беспочвенным. Руфь-Майя так стремилась всегда победить в игре в прятки, как и в любой другой, что могла сгореть в печи и не закричать, чтобы не выдать своего местонахождения.

Мама научилась-таки «всеми правдами и неправдами», как она выражалась, выпекать хлеб, но в плите не было такой духовки, какая требовалась для торта. Эта плита похожа не

столько на плиту, сколько на какую-то машину, собранную из деталей некой другой машины. Рахиль говорит, что это часть железнодорожного локомотива, однако Рахиль славится тем, что выдумывает белиберду на пустом месте, а потом утверждает это безапелляционным тоном знатока.

Но плита была не самым большим препятствием для торта. Во всепоглощающей сырости с сухой смесью произошла та же метаморфоза, что и с несчастной женой Лота, обернувшейся назад, когда они бежали из Гоморры, и превратившейся в соляной столб. В день рождения Рахили утром я нашла маму сидящей в кухне, обхватив голову руками, и плачущей. Она подняла коробку со смесью и стукнула ею по железной плите всего один раз, желая показать мне, что стряслось. Коробка лязгнула, будто молотком ударили по колоколу. Мамины способы выражаться иносказательно отличаются от папиных.

– Если бы у меня было хотя бы отдаленное представление, – произнесла она, не сводя с меня тусклых, наполненных слезами глаз, – хотя бы самое отдаленное... Все, что мы привезли, – совершенно не то, что нужно.

Впервые, когда папа услышал от Метуселы слово «черт», он странно дернулся, будто глотнул спирта или почувствовал приступ изжоги. Мама извинилась и ушла в дом.

Рахиль, Ада и я остались на крыльце, и он внимательно посмотрел на каждую из нас. Мы помнили, что папа огра-

ничился гримасой, когда Метусела произнес «отвали к сви-
ньям», но то, разумеется, было делом «рук» брата Фаулза и
оставалось на его совести, не являясь грехом папиного се-
мейства. А вот «черта» Метусела прежде не поминал, это
было нечто новое, произнесенное отрывисто женским голо-
сом.

– Кто из вас научил Метуселу говорить это слово? – гроз-
но спросил папа.

Мы молчали. Для Ады это, конечно, естественное состоя-
ние, и потому обвинение зачастую падает на нее, если никто
другой не признается. Да и по правде сказать, если кто-либо
из нас и расположен к ругательствам, так это Ада, которой
совершенно наплевать на грех и спасение. Это главная при-
чина, почему я попросила маму сделать мне стрижку пикси
– чтобы никто нас не путал, поскольку Ада носила длинные
волосы. Сама я никогда не ругалась, ни при Метуселе, ни без
него, ни даже во сне, поскольку мечтаю попасть на Небеса и
быть папиной любимицей. И Рахиль не ругается – лишь про-
изнесет с отвращением: «Господи Иисусе!» или «О Боже!»,
если чем-то возмущена, а в основном, на людях, она всегда –
благовоспитанная леди. Ну а Руфь-Майя еще слишком мала.

– Не понимаю, – сказал папа, хотя прекрасно все пони-
мал, – зачем вам нужно, чтобы несчастное безмозглое суще-
ство проклидало нас всех на вечные муки?

Я должна, однако, заметить, что Метусела вовсе не без-
мозглый. Он не просто повторяет слова, а имитирует голоса

людей, которые их произносят. От него мы научились узнавать интонации янки-ирландца брата Фаулза, кого представляли похожим на отца Фланагана, руководившего приютом «Город мальчиков»²⁶, и голос мамы Татабы, и наши собственные голоса. Кстати, Метусела не просто подражал, он знал слова. Одно дело тупо выкрикивать: «Сестра, Бог велик! Закрой дверь!», когда тебе вздумается, и совсем другое – называть банан бананом и арахис арахисом, когда видишь их у нас в руках и хочешь, чтобы тебя угостили. Часто попугай наблюдает за нами, копирует наши движения и, судя по всему, знает, какие слова вызывают смех, какие – шок, а на какие мы огрызаемся. И сейчас мы сообразили, что Метусела может выдать наши секреты.

Разумеется, этого я не сказала вслух. Я никогда, ни в чем не перечу папе. Наконец Рахиль выпалила:

– Папа, прости нас!

Ада и я притворились, будто увлечены своими книгами. Мы привезли с собой учебники и принимались усердно изучать их каждый раз, когда мама грозно напоминала, что мы отстанем от класса и по возвращении нам впору будет носить «дурацкие колпаки»²⁷, хотя это не грозило никому, кроме Рахили, в нашей семье она одна обладала на удивление по-

²⁶ Фланаган, Эдуард Джозеф – католический пастор. В 1918 г. основал «Приют для мальчиков отца Фланагана», где возникла колония «Город мальчиков» с самоуправлением колонистов.

²⁷ Бумажный колпак, надевавшийся ленивому ученику в виде наказания.

средственными умственными способностями. Думаю, мама просто боялась, что мы позабудем самые обычные вещи вроде переправы Джорджа Вашингтона через Делавэр, осенней листвы и поезда, спешившего на запад, в Сент-Луис, со скоростью шестьдесят пять миль в час.

Я подняла голову от книги. О Господи! Отец смотрел прямо на меня. Сердце у меня заколотилось.

– Бог простит тебя, если попросишь, – тихо произнес он, с отвращением, тоном, от которого мне становилось не по себе. – Бог наш милостив. Но эта несчастная африканская птица не сможет избавиться от того, чему ты ее научила. Невинное существо способно лишь повторять то, что слышит. Вред уже причинен.

Папа стал поворачиваться. Мы затаили дыхание, но, задержавшись на ступенях, он оглянулся и посмотрел мне в лицо. Я вспыхнула от стыда.

– Если это может чему-нибудь научить, – добавил он, – так тому, как грязен и как смердит первородный грех. Я хочу, чтобы вы думали об этом, когда будете переписывать Стих. Все трое. Книга Чисел, двадцать девять – тридцать четыре. – И папа решительно вышел, оставив нас на крыльце, как сироток.

Мысль, что придется потратить остаток дня на переписывание нудной Книги Чисел, быстро привела меня в чувство, пока я смотрела вслед папе, шагавшему по направлению к реке. Он ходил туда почти каждый день, проделав себе тун-

нель через огромные листья бегонии, которые заслоняли от нас берег реки, – искал места, подходящие для обряда крещения.

Я уже знала, чем заканчиваются стихи двадцать девять тридцать четыре Книги Чисел, потому что переписывала их раньше; когда грешишь против Бога, грех не остается тайным, и ты воочию видишь, что происходит изо рта твоего.

Я даже не задумывалась о необратимости ущерба, нанесенного невинности Метуселы, что лишь доказывает, насколько многому мне еще предстоит научиться. Но, признаюсь, в тот день я молилась, чтобы папа принял извинение Рахили за признание и не считал, что грех – мой. Трудно слушать его обвинения молча. Мы все прекрасно знали, кто выкрикивал это слово – «черт, черт, черт!». Она произносила его снова и снова, обливаясь слезами над своими испорченными сухими смесями. Однако ни одна из нас не открыла бы отцу этого ужасного секрета. Даже я, а именно я чаще всего поворачиваюсь к ней спиной.

Это случалось редко, но нам приходилось защищать ее. Оглядываясь назад, когда мы были еще совсем маленькими, я вспоминаю, как подбегаю к маме и обхватываю руками ее колени после того, как он задал ей взбучку – словесную, а то и хуже – за незадернутые шторы или промахи в поведении, за женские, так сказать, грехи. С раннего детства мы заметили, что не все взрослые одинаково защищены от унижения. Мой отец носит свою веру, как бронзовый нагрудный знак

пехотинца Божьего воинства, а мама – скорее, как перешитый простой плащ с чужого плеча. Все то время, пока папа допрашивал нас на крыльце, я представляла, как она сидит в кухонном домике, опустив плечи, в отчаянии молотя коробкой по этому локомотивному мотору, называемому плитой. В руке у нее – твердая, как камень, коробка с сухой смесью Рахилевой деньрожденной «Мечты ангела»; в сердце – картинка: мама гордо вносит и ставит на стол божественное глазурированное розовое совершенство с горящими свечами на бесценном фарфоровом блюде с голубыми цветочками. Мама держала это в секрете, но хотела устроить для Рахили настоящий праздник шестнадцатилетия.

Однако «Мечта ангела» оказалась неправильным выбором. А поскольку она пересекла Атлантику заткнутой за мой пояс, то вроде как часть ответственности лежала на мне.

Ада

«Отец небесный, благослови нас и призри на рабы твоя», – сказал преподобный. Твоя рабы на призри и нас благослови небесный. И все мы с закрытыми глазами, через прямоугольники отсутствующих стен вдохнули аромат красного жасмина, такой сладостный, что он вызывал в воображении картины греха или рая – в зависимости от того, на что вы настроены. Преподобный возвышался над хлипким алтарем; его огненный «ежик» полыхал, как красная «шапочка» на голове дятла. Когда Дух снизошел на него, он издал стон, предавая

тело и душу еженедельной процедуре очищения, которую я называла «клизма аминь» – «нима амзилк».

Мама Татаба на скамье рядом со мной застыла. Ее оцепенение вызывало в памяти выброшенную на берег реки рыбу – чешуйчатый ком вроде куска засохшего потрескавшегося мыла. И все из-за способа ловли душ, который придумал наш отец. Из-за его высокомерной демонстрации силы. Он приказал мужчинам отплыть от берега на каноэ и бросать в воду динамит, глуша все в пределах слышимости. Вы спросите, где он взял динамит? Естественно, никто из нас не привез его сюда на себе. Приходится предположить, что отец купил его у Ибена Аксельрута за большие деньги. Наша семья ежемесячно получала пособие в пятьдесят долларов за свое миссионерство. Это не стандартное для баптистов пособие. Наш папа мятежник, прибывший сюда без официального благословения Союза миссионеров, он добился разрешения своим упорством и тем, что согласился на меньшее пособие. Но даже и оно – это куча конголезских франков, и для жизни в Конго было бы целым состоянием, если бы оно до нас доходило. Но оно не доходило. Деньги прибывали в конверте на самолете, их привозил Ибен Аксельрут, большую часть он же и увозил. Прах к праху.

Голодным жителям Киланги папа пообещал щедрый дар Божий к концу лета – больше рыбы, чем они видели когда-либо в жизни. «Иисус сын Божий возлюбленный! – выкрикивал он, стоя в лодке и опасно балансируя в ней. – Та-

та Жезю из бангала!» Уж так решительно был отец настроен завоевать их души или заставить, силой притащить их на путь Христа, что однажды во время нашего общего ужина его осенило. «Сначала накормим живот, а душа придет следом», – провозгласил он. (Не заметив – кто же обращает внимание на жену, – что именно это и сделала наша мама, когда зарезала своих кур.) Но после подводного взрыва всплыли не души, а рыбы. Кувыркаясь, они поднимались на поверхность с открытыми от чудовищного звукового удара ртами и выпученными пузырями вместо глаз. Деревня праздновала целый день – ела и ела, пока мы сами не почувствовали себя теми рыбами, перевернутыми вверх пузами, с выпученными глазами. Преподобный Прайс исполнил притчу о хлебах и рыбах шиворот-навыворот, попытавшись затолкать десять тысяч рыб в пятьдесят ртов. Таскаясь туда-сюда по берегу в мокрых до колен брюках, с Библией в одной руке и обугленной рыбиной на палке в другой, он угрожающе размахивал своим щедрым даром. Еще тысячи рыб, выброшенных на оба берега, судорожно дергались и начинали тухнуть на солнце. Наша деревня на несколько недель была осчастливлена гнилостной вонью. Вместо праздника изобилия получился праздник пустого расточительства. Льда ведь не было. Наш папа забыл, что рыбная ловля требует льда.

В сегодняшней проповеди он благо разумно решил не касаться хлебов и рыб. Отец просто причащал паству раздачей обычной иллюзии – будто они едят плоть и пьют кровь

Христову. Вероятно, интерес прихожан это и возбуждало, но мы, девочки Прайсы, слушали его вполуха. А Ада еще и вполума. Ха-ха! Теперь церковная служба длится вдвое дольше, поскольку сначала преподобный произносит несколько фраз по-английски, а потом школьный учитель папа Анатолий повторяет их на киконго. Наш отец наконец сообразил, что никто не понимает его чудовищных попыток говорить по-французски или на местном наречии.

– Беззаконие вышло из Вавилона! Без-за-ко-ние! – возгласил преподобный, выразительно помахав рукой в сторону якобы Вавилона.

Создавалось впечатление, будто местные безобразия таились непосредственно за школьной уборной. Сквозь провисшую крышу, словно Божий прожектор, на его правое плечо упал луч солнца. Папа ходил туда-сюда, делая паузы, снова говорил и вышагивал за своим алтарем из пальмовых ветвей, делая вид, будто библейские притчи приходят ему на ум прямо здесь и сейчас. Нынче утром он разворачивал перед слушателями историю о Сусанне, красивой и благочестивой жене богатого человека по имени Иоаким. Аннасус о! «Когда мылась она в саду, двое старейшин-судей видели ее, и в них родилась похоть к ней, и извратили они ум свой. Выпрыгнули они из кустов, где прятались, и потребовали, чтобы она легла с ними». Бедная Сусанна! «Если откажешься, сказали они, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша». Разумеется, благочестивая Сусан-

на отвергла их, даже зная, что ее ложно обвинят в прелюбодеянии и побьют камнями. Прелюбодеяние, стенание, камнямипобивание. Предполагалось, что мы не будем задаваться вопросом, каким же мужем был Иоаким, если мог убить собственную любимую жену, не выслушав даже ее версию событий. А вавилоняне, конечно же, уже шастали вокруг в поисках камней.

Преподобный возложил длань свою на алтарь и сделал паузу. Его торс в белой рубашке едва заметно вздымался и опал, отсчитывая секунды, не давая сбиться заданному им себе ритму. Он пристально вглядывался в ничего не выражавшие лица прихожан в надежде увидеть в них нетерпеливое ожидание продолжения. Среди них было одиннадцать или двенадцать новых – повод для гордости преподобного. Мальчик с открытым ртом рядом со мной закрывал то левый, то правый глаз. Все ждали, когда папа Анатолий, учитель-переводчик, закончит переводить очередной пассаж.

– Но Господь не допустил того, – пророкотал преподобный и, повысив голос на целую октаву, будто исполнял гимн Соединенных Штатов, продолжил: – Он возбудил святой дух молодого юноши по имени Даниил!

О, ура! Даниил спешит на помощь. Наш папа любит Даниила, прототипа «тайного ока». Папа Даниил (так он его называл, чтобы местные почувствовали его своим) вышел вперед и произнес: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Папа Даниил каждому в отдельности задал вопрос:

«Если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» – «Под мастиковым», – ответил первый. «Под зеленым дубом», – заявил другой.

Глупо, что они даже не сговорились заранее, как отвечать. В Библии все злодеи на удивление тупые. Я наблюдала за папой Анатолом, ожидая, когда он споткнется на «мастиковом дереве» и «зеленом дубе», ведь в языке киконго не могло быть таких названий. Но он даже не запнулся. «Куфвема, кузикиза, кугамбула...» – Слова плавно лились из него, и я поняла, что с помощью этого хитрого трюка он может говорить все, что взбредет ему в голову. Наш папа никогда не поумнеет. Итак, они побили камнями даму, взяли каждый по новой жене и впредь жили долго и счастливо. Я зевнула; благочестивая и красивая Сусанна меня не вдохновляла. Мне ее проблемы не грозили.

Я придумывала себе мласпиовс'ы, как я их называла, то есть свои псалмы, псалмы-перевертыши, которые можно петь туда и обратно. «Умер – и мир ему». А еще я использовала редкую возможность рассмотреть маму Татабу с близкого расстояния. Обычно она двигается слишком быстро для этого. Я считала ее своей союзницей, потому что, как и я, мама Татаба была неполноценной. Неизвестно, что она думала о папиных проповедях, в церкви или вне ее, поэтому я размышляла о более интересных тайнах, таких, как ее глаз. Как она его потеряла? Из-за него ли не вышла замуж, как, полагаю, не выйду и я? Я имела слабое представление о ее воз-

расте или чаяниях. Я знала, что многие женщины в Киланге были искалечены больше, чем мама Татаба, но, несмотря на это, имели мужей. Здесь телесные дефекты рассматривались как побочное явление жизни, а не позор. С точки зрения физического состояния и людской молвы, в Киланге я наслаждаюсь подобным милосердным отношением, какого никогда не наблюдала в Вифлееме, штат Джорджия.

Покончив с Сусанной, мы спели «Изумительную благодать» в ритме панихиды. Разношерстная паства подпевала кто во что горазд – и в смысле слов, и в смысле мелодии. О, здесь, в Первой баптистской церкви Киланги, мы являли собой типичную Вавилонскую башню, поэтому никто не заметил, что на правильную мелодию я пою свои слова:

О гладобать сапсен отбой
Я из чипуны бед.
Лыб тверм и дучмоласт вижой
Лыб плес и ивуж всеет²⁸.

По окончании службы мама Татаба повела нас обратно домой, а мудрый преподобный с женой остались улыбаться, пожимать руки и греться в лучах общей благодати. Мама Татаба тяжело топала впереди, мы с сестрами – за ней. Плетясь в арьергарде, я сосредоточилась на том, чтобы идти в ногу с

²⁸ Искаженный словесной эквилибристикой Ады первый куплет псалма 1684 из сборника «Песнь Возрождения»: О благодать! Спасен Тобой / Я из пучины бед. / Был мертв – и снова стал живой, / Был слеп – и вижу свет.

неспешившей Рахилью. Та шествовала, немного отведя руки от бедер, изображая, как она это любила делать, коронованную «Мисс Америку».

– Держите руки так, будто вы только что бросили стеклянный шарик, – обычно поучала она нас, прохаживаясь по дому, как манекенщица.

Несмотря на всю величавость ее походки, я все равно не поспевала за ней. Оранжево-белая бабочка вилась над Рахилью и в конце концов села на ее белую голову. Потыкала своим крохотным хоботком в ее волосы – нет ли там чего-нибудь, чем можно поживиться – и, недовольная, улетела. Мама Татаба этого не видела. Она пребывала в дурном настроении и громко откровенничала:

– Преподобный Прайс... он лучше бы бросил это!

Может, мама Татаба имела в виду поедание плоти и питье крови? Папина проповедь незаметно свернула с благочестивой Сусанны на Рахаб, иерихонскую блудницу. В Библии столько имен-перевертышей вроде Рахаб ²⁹, что я порой задаюсь вопросом: уж не какой ли нибудь умственный урод вроде меня написал ее? Вскоре папа завершил тему, сведя все к крещению. И, похоже, это тревожило маму Татабу. Наш отец не мог смириться с тем, что было ясно, кажется, даже ребенку: когда он изливал на здешних людей идею крещения – «батиза» по-ихнему, – они съезживались, как ведьма от воды.

²⁹ Персидское имя Бахар, означающее «весна, цветение».

Позднее в тот же день, за ужином, отец был все еще воодушевлен, впрочем, по воскресеньям это было его обычным состоянием. Взойдя утром на кафедру, он уже не желал покидать ее.

– А вы знаете, – вопрошал отец, сидя в своем кресле, высокий, прямой, с огненной головой, как свеча, – что в прошлом году некие люди приехали сюда из самого Леопольдвилья на пикапе с порванным ремнем вентилятора? Это был «мерседес».

О Боже! Он пребывал в своем «сократическом» настроении. Это не опасно, потому что за столом отец редко позволял себе ударить кого-то из нас, но его намерением было показать, что все мы тупоголовые коровы. Подобные допросы всегда завершались его возмущенными личными беседами вслух с Богом на тему нашей безнадежности.

Метусела определенно примыкал к женскому лагерю. У него вошло в привычку во время наших воскресных ужинов верещать во всю мощь своих легких. Как многие человеческие существа, попугай подхватывал последнюю реплику и громко вступал в разговор. Мама в отчаянии накрывала его клетку скатертью.

– Мботе! Мботе! – орал он сейчас, что на киконго означает и «здравствуйте», и «до свидания».

Такая языковая симметрия мне по вкусу. Многие слова на киконго напоминают английские, произнесенные задом наперед, и имеют противоположный смысл. «Сйебо» означает

чудовищный, разрушительный ливень; прочитанное от конца к началу, оно похоже на английское «обей», по контрасту означающее нечто вроде «повиноваться».

Мы рассеянно слушали папин рассказ о мнимом пикапе-«мерседесе». Единственными материальными свидетельствами существования внешнего мира за последнее время стали для нас книжки комиксов, которые мои сестры хранили бережно, как китайские специи «Марко Поло», да еще порошковое молоко и яичный порошок, к каким мы были равнодушны. Все это привозил Ибен Аксельрут. А что касается той истории с пикапом и порванным ремнем вентилятора, то преподобный обожал говорить иносказаниями, и мы, естественно, поняли, что грядет очередное.

– По этой дороге? – озадаченно уточнила мама, вялым жестом показывая на дорогу через окно. – Не представляю. – Она покачала головой. Неужели мама осмелилась не поверить ему?

– Это было в конце сухого сезона, Орлеанна, – огрызнулся отец. – В это время все лужи высыхают. – Добавлять «безмозглая дура» не было необходимости, это подразумевалось.

– Но как, скажи на милость, они сумели проехать весь путь без ремня вентилятора? – спросила мама, поняв по раздраженному тону преподобного: он ждет, чтобы она вернулась к существу вопроса.

Мама протянула ему булочки на фарфоровом блюде, которое иногда, втайне, вымыв и вытерев, баюкала, как мла-

денца. Сегодня она нежно провела пальцами по ободу, прежде чем сложить руки на коленях, демонстрируя покорность папиной воле. На ней было веселенькое платье-рубашка, белое, с маленькими красными и синими семафорными флажками – последнее, что мама сшила перед отъездом сюда. Теперь, после зверской мама-табабиной стирки в реке, задорные флажки сигнализировали бедствие.

Папа наклонился вперед, чтобы мы лучше прочувствовали эффект предстоявшего высказывания, усиленного видом его рыжих бровей и выдававшейся вперед челюсти.

– Слоновья трава! – победно провозгласил он.

Мы замерли, мгновенно перестав жевать.

– Дюжина мальчишек, прицепившись к машине сзади, махали веерами, сделанными из слоновьей травы.

Лия, спеша опередить всех, выпалила:

– Значит, простая трава, созданная Богом, обладает такой же силой, как резина или что-либо иное! – Она сидела, прямая, как шомпол, словно в телевизионной викторине ответила на вопрос ценой в шестьдесят четыре доллара.

– Нет, – возразил папа. – Каждый «веер» выдерживал всего две-три мили.

– О! – расстроилась Лия. Остальные дурочки не решились озвучить свои соображения.

– Но, – продолжил папа, – как только один истрепывался, наготове был уже другой.

– Здорово, – неубедительно произнесла Рахиль.

Она больше всех в семье склонна к театральным эффектам, хотя актерские способности у нее никакие, а это важнейшее искусство для нашего клана. Мы старательно принялись за порошковое картофельное пюре. Предполагалось, будто все должны были проникнуться пониманием того, что воздушный вентилятор из слоновьей травы есть не что иное, как демонстрация безграничного Божьего могущества, однако никто не желал, чтобы его «вызвали к доске».

– «Мерседес»-пикап! – воскликнул отец. – Вершину немецкой инженерной мысли может держать на ходу дюжина маленьких африканцев и какая-то слоновья трава.

– Сестра, закрой дверь! Уэнда мботе! – заорал Метусела и добавил: – Ко-ко-ко! – Этот возглас – обычное приветствие, которое произносят пришедшие в гости килангцы, появляясь на пороге, поскольку дверей, в которые можно постучать, в здешних домах обычно нет. Его часто можно было услышать и в нашем доме, но мы всегда знали, что это Метусела, поскольку в нашем доме двери были, а посетителей, как правило, не было. Если кто-нибудь иногда и приходил с намерением продать нам какую-то еду, то не стучал в дверь, а слонялся по двору, пока его не заметят.

– Что ж, надеюсь, и ты сможешь справиться со всем с помощью достаточного количества мальчиков и достаточного количества слоновьей травы, – заметила мама. Судя по тону, ее это не слишком радовало.

– Правильно. Нужно просто научиться приспособливать-

ся.

– Черт, черт, черт! – заметил Метусела.

Мама окинула его тревожным взглядом.

– Если эта птица переживет девятьсот баптистских миссий, ей будет много что сказать.

Мама встала и начала собирать тарелки. Ее «Живой гребень»³⁰ давным-давно опал и почил в бозе, и в целом она приспособилась к своей нынешней жизни в малейших ее проявлениях. Извинившись, мама отправилась греть воду для мытья посуды.

Не сумев «подогнать» ни воду для мытья посуды, ни долгую память Метуселы под завершение своей притчи, папа просто обвел нас взглядом и издал тяжелый вздох мужчины, обремененного семьей, не оправдывающей его ожиданий. О, этот вздох! Столь глубокий, что мог вобрать в себя всю воду из колодца, если бы тот находился под полом населенного ничтожествами дома преподобного. Вздох подразумевал: я пытаюсь вытащить всех вас к свету из этой бабской трясины.

Мы опустили головы, отодвинули стулья и гуськом отправились помогать разводить огонь в кухне. Полдня здесь уходит на приготовление еды, вторая половина – на мытье посуды. Приходится кипятить воду, потому что ее берут из речки, кишашей мгновенно быстро размножающимися паразитами. Африканские паразиты так многообразны и спе-

³⁰ Имеется в виду серф-фильм режиссера Джейми Баджа о серфинге в Калифорнии.

цифичны, что захватывают каждую нишу человеческого тела: кишечник, толстый и тонкий, кожу, желчный пузырь, мужские и женские половые пути, тканевые жидкости, даже роговицу глаза. В библиотечной книге об африканском общественном здравоохранении еще до отъезда я нашла рисунок червя, тонкого, как волосок, ползущего по главному яблоку перепуганного человека, и была изумлена собственной неортодоксальной молитвой, возникшей в голове: хвала тебе, повелитель всех эпидемий и тайных болезней! Если Бог получал удовольствие, создавая полевые лилии, то от африканских паразитов он и сам наверняка остолбенел.

Выйдя из дома, я увидела, как, направляясь в кухню, мама Татаба зачерпывала воду ладонью прямо из ведра и пила ее. Я скрестила пальцы за ее единственный здоровый глаз и содрогнулась, вообразив, какое количество этих Божьих созданий, которые будут высасывать ее изнутри, она сейчас проглотила.

Лия

Папа ходил на огород каждый день один, чтобы посидеть и подумать. Его расстраивало то, что растения пышно разрастались и цвели, заполняя весь огороженный участок, как могильный цветник, но не плодоносили. Я знала, что папа молится об этом. Порой я тоже ходила посидеть с ним, несмотря на то, что мама возражала, – она объясняла: ему нужно побыть одному.

Папа строил догадки: мол, на огороде слишком много тени от деревьев. Я долго и усердно размышляла над его словами, потому что всегда старалась расширить свои знания в области овощеводства. Это правда, деревья действительно покушались на наш маленький расчищенный участок. Нам постоянно приходилось обламывать и обрубать ветви, отводя солнечный свет для своей земли. Выющиеся бобовые лозы, стремясь к нему, добивались до верхушек крон.

Однажды, когда мы сидели над нашими тыквами, неожиданно отец спросил меня:

– Лия, знаешь ли ты, о чем спорили на прошлом съезде Библейского общества в Атланте?

Не предполагалось, что я могу это знать, поэтому я молчала. Я была взволнована уже тем, что он говорил со мной добрым, задушевым тоном. Отец не смотрел на меня, конечно, потому что, как обычно, в голове у него мелькало много мыслей. Мы так усердно трудились во славу Господа, но, вероятно, Бог ждал от нас каких-то дополнительных усилий, и папа должен был понять, каких именно. Своим здоровым глазом он вглядывался в тыквенный цветок, пытаясь разгадать источник болезни своего огорода. Цветки распускаются, отцветают, потом появляются зеленые завязи плодов, а вскоре они сморщиваются и коричневеют. Не было ни одного исключения. В награду за свой честно пролитый пот мы пока получали лишь листья и цветы – и ничего такого, что можно было бы приготовить на ужин.

– О размере неба, – наконец произнес он.

– Что? – На мгновение у меня замерло сердце. В этом месте я обычно пытаюсь предугадать следующий этап папиных размышлений, потому что он всегда мыслит на два шага впереди меня.

– О размере неба возникли дебаты на съезде Библейского общества. Сколько в нем фарлонгов ³¹. Сколько в длину, сколько в ширину. Посадили людей с арифмометрами подсчитывать. В главе двадцать первой «Откровения» мера идет на трости, в других книгах – на локти, но ни то ни другое не точно.

По непонятным причинам отца злило, что на Библейский съезд призвали людей с арифмометрами, они бы еще к самой Библии с арифмометром подступились! Я ощущала неловкость.

– Ну, надеюсь, что там всем места хватит, – сказала я. Это была какая-то совершенно новая для меня тревога. Я вдруг начала думать о людях, которые уже собрались на небе, большей частью старых, не в очень хорошей форме, и представила, как они толкаются локтями, словно на церковной распродаже.

– Для праведных всегда место будет, – заявил отец.

– Аминь, – выдохнула я.

– «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его

³¹ Мера длины, 201,17 м.

Господь»³². Но знаешь, Лия, порой Он не избавляет его от всех скорбей. Он спасает нас, не устраняя тяготы, а через них.

– Господь небесный, избави нас, – произнесла я, хотя не испытывала особого интереса к этому новому повороту в разговоре.

Папа уже склонил свою волю к Африке тем, что переустроил огород на местный лад, холмиками. Это, конечно, был знак Богу о смирении и покорности, и справедливо было бы ждать награды за это. А что за история с избавлением через преодоление тягот? Имел ли папа в виду, что Бог не обязан вообще посылать нам бобы и кабачки, независимо от того, как упорно мы трудились во славу Его? Не предполагается ли, что Он просто будет сидеть там и насыпать на нас тяготы одну за другой? Разумеется, не мне рассуждать о великих замыслах Божьих, но как насчет весов правосудия?

Папа молча сорвал бобовый цветок и воздел его к небу, всматриваясь в него в африканском свете, как врач в рентгеновский снимок, стараясь разгадать секрет: почему все пошло не так.

Его первая августовская проповедь тянулась долго, торжественно и была посвящена крещению. Позднее, когда мама попросила маму Татабу поставить разогревать суп на плиту, та сразу, между словами «суп» и «плита», повернулась и

³² Пс. 33:20.

вышла из дома. Подойдя к папе, она принялась бранить его, грозя пальцем через грядку бесплодных помидоров. Что бы он там ни сделал неправильно с ее точки зрения, это стало последней каплей. Мы слышали, как голос звучал все выше и выше.

Конечно, нас до полусмерти напугало то, что кто-то посмел подобным образом терзать папин слух. Но еще больше нас шокировало то, что папа стоял перед ней с красным лицом, пытаясь вставить слово в ее тираду. Четыре девочки с отвисшими челюстями, прилипшие к окну, вероятно, напоминали сестер Леннон из «Шоу Лоренса Велка». Мама шуганула нас от окна, приказав достать учебники и засесть за них. Это не было обычным временем для занятий, и даже день был в школе неприсутственный, но в тот момент мы сделали так, как она велела. А вскоре увидели, как она через всю комнату запустила коробку с сухим картофельным пюре.

После бесконечно тянувшегося затишья в этой Троянской войне мама Татаба влетела в дом и швырнула на стул свой фартук. Мы закрыли учебники.

– Больше я здесь не останусь, – объявила она. – Вы посылать за мной девочка в Бангу, когда вам нужна помощь. Я прихожу показывать вам, как готовить угря. Они там, в реке, вчера поймать большого угря. Рыба детям полезно.

Это был ее последний совет ради нашего спасения. Я проводила маму Татабу до двери, посмотрела, как она топает

по дороге – бледные подошвы ступней словно подмигивали мне, – и отправилась искать папу. Он сидел, прислонившись спиной к дереву, поодаль от нашего огорода, и пальцами с двух сторон держал за крылышки нечто похожее на осу, еще живую. Она была шириной с мою ладонь, и на каждом прозрачном крыле у нее виднелась желтая восьмерка, выделявшаяся очень четко, словно ее нарисовал какой-то прилежный ученик или сам Господь Бог. Папа выглядел так, будто только что ему открылась Главная улица рая.

– Тут нет опылителей, – сказал он.

– Что? – удивилась я.

– Нет насекомых, которые опыляют растения.

– Но здесь целое море жуков! – Излишнее было замечание, полагаю, потому что мы оба видели это особое насекомое, бившееся у него в руках.

– Африканские жуки, Лия. Создания, предназначенные Богом для африканских растений. Посмотри на это существо. Откуда ему знать, что делать с бобами «Кентуккское чудо»?

Я не понимала, прав он или нет. Слабо разбиралась в опылении. Помнила только, что его часть выполняют трудолюбивые пчелы.

– Наверное, нам надо было привезти с собой в карманах и несколько пчел? – произнесла я.

Папа посмотрел на меня с каким-то новым выражением, странным и неуверенным. Как будто маленький озадачен-

ный незнакомец глядел в прорези маски с папиными чертами. Он глядел на меня так, словно я была его только что родившимся младенцем, которого он уже очень любил, но боялся, что мир никогда не будет для него таким, на какой надеялся каждый из нас.

– Лия, пчел нельзя привезти. Для этого нужно было бы перенести сюда целый мир, а тут для него нет места.

Я судорожно сглотнула.

– Знаю.

Мы сидели рядом, глядя через кривую бамбуковую ограду на пышное разнообразие пустоцветов папиного огорода. Во мне боролось столько эмоций: восторг от нежности в выражении папиного лица и отчаяние от его поражения. Мы так усердно работали – и зачем? Я испытывала смятение и ужас, чувствуя, что здешнее солнце сожжет многое из того, во что я верила.

Метусела из своей клетки на крыльце крикнул нам: «Мботе!», и я подумала: это «здравствуйте» или «прощайте»?

– Почему мама Татаба тут так бушевала? – осмелилась я спросить. – Мы видели, как она орала.

– Из-за маленькой девочки.

– У нее есть дочь?

– Нет. Одна девочка из этой деревни погибла в прошлом году.

– Как это случилось?

Теперь отец смотрел не на меня, а куда-то вдаль.

– Крокодил убил и съел ее. С тех пор они не позволяют своим детям даже ногой ступить в реку. Даже ради того, чтобы омыться кровью Агнца.

Меня саму крестили, как и всех, на чьем крещении мне пока довелось присутствовать, в чем-то вроде большой ванны или маленького бассейна в баптистской церкви. Худшее, что могло там с тобой случиться – поскользнуться на ступеньках. Я надеялась, что на небе найдется место для этой маленькой девочки, в каком бы виде она туда ни попала.

– Не понимаю, – сказал папа, – почему потребовалось полгода, чтобы мне наконец сообщили об этом простом факте?

Прежний огонь возвращался в эту странную задумчивую оболочку моего отца. Я обрадовалась.

– Ко-ко-ко! – выкрикнул Метусела.

– Входи! – раздраженно ответил ему папа, которого попугай достал уже до печенок.

– Просыпайтесь, брат Фаулз!

– Отвали к свиньям! – заорал папа.

У меня перехватило дыхание.

Он вскочил, зашагал к крыльцу и распахнул дверцу клетки Метуселы. Тот опустил голову и бочком подошел к открытому проему. Его выпученные глаза бегали вверх-вниз, словно он пытался оценить угрозу, исходившую от этого огромного белого человека.

– Ты свободен, – сообщил папа. Но птица не выходила. Тогда отец протянул руку и взял его.

В папиных руках Метусела выглядел не более чем игрушкой из перьев. Когда папа подкинул его вверх, он в первый момент не взлетел, а лишь завис в воздухе, как бадминтонный волан с красным оперением. Я подумала, что папа чересчур сильно стиснул несчастное существо и оно сейчас рухнет на землю.

Но нет. Метусела расправил крылья и взвился, как воплощение самой свободы, над нашим «Кентуккским чудом», над самыми высокими кронами джунглей, которые, несомненно, заберут обратно все свое, как только мы уедем.

Книга вторая. Откровение

*И стал я на песке морском, и увидел выходящего
из моря зверя...*

*Кто имеет ухо, да слышит.
Откровение 13:1,9*

Орлеанна Прайс

Остров Сандерлинг, Джорджия

Раз в несколько лет, даже теперь, я чувствую запах Африки. И тогда мне хочется голосить, петь, громко хлопать в ладоши или лечь на землю под деревом, чтобы черви взяли из меня все то, чем еще можно поживиться.

Это невыносимо.

Спелые плоды, едкий пот, моча, цветы, неведомые специи и еще что-то, чего я никогда не видела, – не могу сказать, что входит в эту смесь и почему этот запах неожиданно ударяет мне в нос за каким-нибудь случайным поворотом. Однажды он настиг меня здесь, на этом острове, в нашем маленьком городке, в переулке позади домов, где хорошо одетые мальчишки курили на лестничной клетке среди разбросанного мусора. А несколько лет назад – в Миссисипи, на берегу залива, куда я приехала на похороны родственника. Африка буквально возникла передо мной и схватила меня, когда я шла по пирсу мимо старых рыбаков с головами, торчавшими из плащей, как головы черепах из-под панцирей. Ведер-

ки с приманкой были расставлены вокруг них, как угощения на пиршестве. А в Атланте я вышла из библиотеки – и этот запах едва не сбил меня с ног. Данное ощущение вырастает изнутри меня, и в этот момент я понимаю, что ты все еще здесь, владеешь мною. Ты проделываешь со мной какой-то фокус, разделяя мои клетки так, что тело никак не может освободиться от маленьких фрагментов Африки, какие оно вобрало в себя. Африки, где тело одной из моих дочерей покоится в сырой красной земле. Это запах осуждения. Поэтому, я сознаю себя теперь лишь по твоему присутствию в своей душе.

Ты скажешь, я могла бы быть другой матерью. Разобраться и увидеть то, что приближалось, потому что оно уже сгустилось в воздухе, окружавшем нас. Это был тот самый запах базарного дня в Киланге. Каждый пятый день был базарным – не седьмой или тридцатый, его нельзя было назвать ни «субботой», ни «первым днем месяца», просто каждый большой палец руки, если считать дни по пальцам. В этом нет смысла, пока в конце концов именно в этом не сосредоточивается весь смысл жизни, как только понимаешь, что в Конго принято держать ее в собственной руке. Отовсюду, откуда можно дойти пешком, каждый пятый день люди с полными или пустыми руками стекались в нашу деревню, чтобы, торгуясь, фланировать туда-сюда вдоль длинных рядов, где на постеленных на землю циновках свои товары выкладывали торговки – хмурые женщины, опирающиеся подбородками

на сложенные руки, сидящие на корточках перед крепостными валами орехов кола, пучков ароматных палочек, кучек угля, пустых консервных банок и бутылок, высушенных частей животных. Они постоянно ворчали, складывая и перебирая задубевшими умелыми руками свои пирамиды крапчатых зеленоватых апельсинов, манго, целые дамбы загнутых твердых зеленых бананов. Я делала глубокий вдох и говорила себе, что женщина повсюду на земле поймет другую женщину в базарный день. Однако я не могла разгадать этих торговок: они накручивали на голову нечто вроде тюрбанов из тканей ярких веселых расцветок, но из-под них выглядывали лица, взиравшие на мир глазами-щелками с неизменной хмуростью. Укладывая друг другу волосы в ореолы торчащих словно бы в изумлении «колючек», женщины со скучающим видом запрокидывали головы. Как я ни прикидывалась их соседкой, их нельзя было обмануть. Я оставалась бледнокожей и круглоглазой, как рыба. Рыба, выброшенная на пыльную землю базарной площади, пытающаяся плыть, а остальные женщины спокойно дышали воздухом, насыщенным запахами перезревших фруктов, сушеного мяса, пота и специй, питающим их жизни силами, которых я боялась.

Не могу забыть один особый день. Я шла, стараясь поспевать за своими девочками, но видела только Лию. Помню, она была в нежно-голубом платье с кушаком, завязанным сзади. Часто дочери, кроме Рахили, ходили в чем попало, так что, наверное, то было воскресенье – для нашей семьи – и

по совпадению базарный день для местных. В руках у Лии была корзинка, нелегкая, из-за нее она и не шагала впереди всех, как обычно. Остальные уже скрылись из виду. Я знала, что Натан будет нервничать, если мы не вернемся вовремя, поэтому махнула Лие рукой – иди, мол, быстрее. Чтобы приблизиться ко мне, ей надо было пересечь торговый ряд. Не задумываясь, будучи той из близняшек, у которой с ногами все в порядке, она перехватила корзинку левой рукой и подняла ногу, чтобы перешагнуть через апельсиновую пирамиду. Я протянула ей руку. Однако в тот момент, когда Лия дотянулась до нее, нога зависла над горкой апельсинов, и она не смогла поставить ее на землю. Потому что – пф-ф-ф! – женщина, сидевшая на корточках рядом с апельсинами, вскочила, шипя, словно ножницами, рассекая руками воздух между нами, испепеляя меня взглядом, исполненным такой злобы, что шоколадные радужки ее глаз, казалось, плавилась, белея. Мужчины, сидевшие на скамье, подняли головы от своих плошек со свежесваренным пивом и, уставившись на нас такими же мрачными взглядами, замахали руками – чтобы я остановила своего ребенка. Дурное привидение! Нелюдь! Сейчас оно отпугнет базарную удачу женщины. Мне до сих пор становится не по себе, когда я вспоминаю, как Лия стоит там – кто знает, может, без трусиков, – занеся ногу над апельсинами той женщины. Мать и ребенок, чужеземцы, ощущающие себя во враждебном окружении, внезапно растоптанные до полного ничтожества, какими они нас и видели.

Прежде я полагала, что это можно совместить: стать одной из них и при этом оставаться женой своего мужа. Какая самонадеянность! Я была его орудием, домашним животным. И больше ничем. Как же мы, жены и матери, гибнем от уверенности в собственной правоте. Я была лишь одной из множества женщин, которые держат рот на замке и размахивают флагом, когда их страна отправляется на войну захватывать другую. Виноваты они или нет, им придется потерять все. Они и есть то, чему предстоит быть потерянным. Жена – сама земля, несущая на себе шрамы, переходящая из рук в руки.

Нам всем предстоит бежать из Африки разными путями. Многие из нас уже лежат в земле, а кое-кто еще топчет ее, но мы, женщины, сделаны из одной израненной земли. Я всматриваюсь теперь в своих взрослых дочерей и вижу свидетельства того, что они так или иначе обрели покой. Как им это удалось, когда меня преследует Божья кара? Глаза в кронах деревьев проникают в мои сны. В свете дня они наблюдают за моими скрюченными руками, пока я рыхлю землю в своем маленьком сыром огороде. Что вам от меня нужно? Когда я возвожу к небу старые безумные глаза и разговариваю сама с собой, что вы хотите чтобы я вам сказала?

О, моя малышка, моя маленькая любимица. Неужели ты не понимаешь, что я тоже умерла?

Иногда я молюсь, чтобы помнить, порой – чтобы забыть. Это в сущности одно и то же. Как я смогу когда-либо чув-

ствовать себя свободной в этом мире после того, как видела хлопавшие на том базаре ладони людей, откровенно дававших понять, чтобы я убиралась? Я получила предостережение. Как мне вынести запах того, что никак не покидает меня?

У меня почти не было времени разобраться, что хорошо и что плохо, я едва сознавала, где нахожусь. В те первые месяцы я просыпалась, охваченная тревогой, и мне казалось, будто я снова дома, в Перле, штат Миссисипи. До замужества, до религии, до всего. Утра в Конго были такими туманными, что нельзя было разглядеть ничего, кроме лежавшего на земле облака, поэтому не составляло труда представить себя где угодно. В дверном проеме спальни появлялась мама Татаба в оливково-зеленом наполовину застегнутом кардигане, с дырками на локтях величиной с пять пятицентовых монет, в надвинутой на лоб шапке из разлохмаченной шерсти, с руками, словно покрытыми буйволиной кожей. С таким же успехом она могла быть и женщиной, стоявшей в дверях сельского магазина Латтона в 1939 году от Рождества Христова, в моем детстве.

– Мама Прайс, мангуст залез в белую муку, – произносила она.

И мне приходилось держаться за кроватную раму, пока изображение перед глазами не перестанет вихриться, как вода, утекающая в слив, и не вытолкнет меня в центр. Здесь. Сейчас. Господи, как человек может оказаться там, где ока-

залась я?

Все изменилось в тот день, когда мы потеряли их обоих, маму Татабу и окаянного попугая, их обоих отпустил Натан. Что это был за день! Для наших местных домочадцев – День независимости. Правда, птица ошивалась поблизости, бросая на нас с деревьев раздосадованные взгляды, Метусела ведь привык, чтобы его кормили. А та, от кого зависели наши жизни, исчезла из деревни. В то же время разразился дождь. И я все размышляла: может, мы уже погибли и просто не знаем этого? Подобное столько раз случилось в моей жизни (в голову приходил день моей свадьбы): я считала, что вышла из лесу, не отдавая себе отчета в том, что просто задержалась на краю очередного обрыва перед долгим, долгим падением.

До сих пор могу воспроизвести длинный скорбный перечень усилий, требовавшихся, чтобы там, в Конго, обеспечить выживание мужу и детям, кормить их каждый день. Длиннющее дневное «путешествие» всегда начиналось с того, что я с первыми петухами садилась в кровати, раздвигала москитную сетку, совала ноги в туфли – потому что по полу ползали черви-кровопийцы, только и ждавшие, чтобы впиться в наши босые ступни. Скользя по ним, я приветствовала день. Мечтая о кофе. Боюсь, я не так тосковала о муже в его отсутствие, как о чашке кофе. Выйдя через заднюю дверь в ужающую влажную жару, поднималась на цыпочки и вытягивалась, чтобы взглянуть на реку, преодолевая острое желан-

ние бежать к ней.

О, эта река желаний, скользящая крокодилом мечта о том, как она несет мое тело по течению через сверкающие на солнце отмели к морю. Самым трудным для меня было каждый день снова и снова заставлять себя оставаться с семьей. Они об этом, конечно, не подозревали. Отперев замок, предназначенный для того, чтобы в кухню не проникали звери и любопытные дети, мне приходилось сразу запираť его за собой, чтобы предотвратить собственный побег. Мрак, сырость, неизменно кислый запах сезона дождей, резкая вонь испражнений в буше и нашей собственной уборной, которая находилась в шаге от кухни, наваливались на меня, как надоедливый любовник.

Вставая к кухонному столу, я отбрасывала все мысли и словно со стороны наблюдала за тем, как кромсаю апельсины нашим единственным тупым ножом, рассекая их и выдавливая из них красную кровь. Нет, сначала фрукты следовало вымыть; эти необычные, так называемые кровавые дикие апельсины собирали в лесу. Покупая их у мамы Мокалы, я знала, что они побывали в руках ее сыновей, а у тех на глазах и пенисах была белая короста. Мыть фрукты приходилось с каплей драгоценного отбеливателя «Клорокс», отмеряя его, точно кровь агнца. Это нелепо, знаю, но через все то время я пронесла образ популярной рекламной кампании, в которой изображалась ватага перепачканных с ног до головы мальчишек под бодрым призывом: «ЗДЕСЬ НУЖЕН «КЛОРОКС!»

Выдавив из продезинфицированных шкурок густую жидкость с мякотью, нужно было развести ее водой, если я надеялась сохранить драгоценные апельсины в хорошем состоянии. Неизвестно, что обошлось мне дороже: отбеливатель, апельсины или вода. Отбеливатель и апельсины приходилось выторговывать или выпрашивать, когда этот ужасный человек, Ибен Аксельрут, привозил нам положенное продовольствие. Каждые несколько недель, безо всякого предупреждения, он появлялся на пороге нашего дома в сопревших ботинках, пропотевшей насквозь шляпе-федоре, с сигариллой «Типарилло» в зубах и требовал деньги за то, что и так было нашим, – за безвозмездную помощь Союза миссионеров. Аксельрут продавал нам даже нашу собственную почту! Ничто не доставалось даром. Даже вода. Ее приходилось носить за полторы мили и кипятить. «Кипятить» – короткое словечко, но за ним двадцать минут стояния над ревушим огнем в плите, напоминавшей проржавевший остов «Олдсмобила». «Огонь» означал собирание хвороста в деревне, где все, что годится для растопки, собирали с тех пор, как Бог еще был ребенком, и где все способное гореть сметали подчистую так же эффективно, как животное вычесывает насекомых из своей шерсти. «Огонь» подразумевал все более и более дальние вылазки в лес и кражу упавших ветвей прямо из-под носа у уставившихся на тебя змей – и это ради одного ведра питьевой воды. Любое самое незначительное гигиеническое действие усложнялось часами труда, потраченного

на добывание простейших составляющих: воды, огня и чего-нибудь, что могло сойти за дезинфицирующее средство.

А еда! Это была особая песня. И танец. Найти, выучить название, нарезать, отбить или истолочь, чтобы превратить во что-то, что оказалось бы терпимо для моей семьи. Очень долго я не понимала, как устраивались с едой другие семьи. По-моему, тут вообще не существовало еды, о какой стоило бы говорить, даже в базарный день, когда все выходили на площадь, чтобы устроить самые высокие горы из того, что у них имелось. Но собственно еды для двух с половиной десятков семей нашей деревни, как мне представлялось, среди всего этого не было. Да, я видела уголь, на котором еду следовало готовить, и сушеный красный перец пили-пили, чтобы ее приправлять, и посуду из тыкв, в какую ее складывать, но где же собственно то, что можно готовить, приправлять и складывать, хотя бы что-то? Что, Господи помилуй, они едят?

Со временем я узнала ответ: клейкая масса под названием фуфу. Ее делают из огромных клубней, которые женщины выращивают, выкапывают из земли, вымачивают в реке, высушивают на солнце, толкут до белой пудры в корытцах из выдолбленных бревен и варят. Называется это маниок, как сообщила мне Джанна Андердаун. Его питательная ценность равна питательной ценности коричневого бумажного пакета, к чему в качестве бонуса следует присовокупить наличие следов цианида. Однако желудок он набивает. Из него дела-

ют некую безвкусную массу, американского ребенка можно уговорить попробовать ее лишь раз, после того как он долго будет воротить нос, а вы – подначивать его: «А слабó попробовать?» Но для жителей Киланги фуфу было всем, если не считать времени, которое они, судя по всему, принимали на веру. Да здравствует маниок! Он – центр жизни. Безмятежно возвращаясь с полей, высокие худые женщины в кангах несли его в гигантских тюках, непостижимым образом балансировавших у них на головах; эти тюки с маниоком были размером с небольшую лошадь. Вымочив, они чистили длинные белые корнеплоды и складывали вертикально в эмалированные тазы, а потом, выстроившись цепочкой, шествовали через деревню, как гигантские лилии на стройныхдвигающихся стеблях. Эти женщины проводили свои дни в непрерывных трудах: сажали, копали, толкли маниок, хотя сонная манера двигаться во время работы производила впечатление их полной отстраненности от конечного результата. Они напоминали мне чернокожих укладчиков рельсов на старом Юге. Те двигались вдоль железнодорожного полотна, ритмично полязгивая стальными брусами, синхронно наклоняясь, синхронно делая шаг вперед, потом назад, в унисон напевая, завораживая своими движениями детей и уходя далеко вперед, прежде чем вы успевали осознать, что они, между прочим, еще и чинят дорогу. Их так и называли «танцорами на шпалах». Вот так же и эти женщины выращивали и готовили маниок, и так же их дети ели его: не задумываясь о

высоких целях производства и потребления. Фуфу являлось синонимом слова «еда». Все другое, что можно было съесть – банан, яйцо, бобы, которые назывались мангванси, кусок черного от сажи антилопьевого мяса, – считалось его противоположностью и особыми, вероятно, даже неуместными продуктами потребления.

Моя семья требовала «неуместных продуктов» три раза в день. Они не понимали, что еда, какую они воспринимали как нечто само собой разумеющееся, на приготовление которой в стране «Дженерал электрик» требовалось не более получаса, в переводе на местные условия означала тяжелый труд всей жизни. Семья могла с тем же успехом ждать, что мама и ее помощницы будут трижды в день выходить из кухни с традиционным праздничным обедом по случаю Дня благодарения. Мама Татаба умудрялась делать это, хотя и постоянно жаловалась. Работая, она ворчала, но не давала себе отдыха, лишь подтягивала свою кангу под шерстяным свитером и закатывала глаза, когда ей приходилось исправлять мои ошибки: мыть и складывать жестяные банки, которые я вымыть и сохранить забыла, осматривать на предмет наличия тарантулов бананы, которые я забыла проверить... А однажды я набила топку в плите хворостом бангала – ядовитого сумаха! Мама Татаба выхватила спички у меня из рук, когда я уже наклонилась, чтобы поджечь его, затем по одной вытащила зеленые палочки прихваткой, раздраженно пояснив, что такого дыма от плиты было бы достаточно, что-

бы угробить нас всех.

Поначалу я знала на киконго лишь несколько обиходных слов, которым мама Татаба же меня и научила, поэтому не ведала, что она прокликает наши бессмертные души с тем же беспристрастным видом, с каким кормит наши тела. Мама Татаба баловала моих неблагодарных детей и чрезвычайно негодовала на нас. Запускала пальцы в заплесневелый мешок, доставала чудодейственную щепотку белой муки и обваливала ею печенье. Она перетапливала козий жир в нечто наподобие масла и проворачивала антилопье мясо для гамбургеров в некоем приспособлении, которое, по-моему, было сооружено из винта моторной лодки. Использовала плоский камень и силу воли, чтобы дробить орехи и делать из них сносное арахисовое масло. А на конечной станции этого долгого труда, в торце стола, вздыхая и жеманно отбрасывая с плеч свои белые волосы, сидела Рахиль и заявляла: единственное, чего бы ей хотелось в этой жизни, это печенье «Джиффи», мягкое, не хрустящее.

Мама Татаба называла нас «фуфу нсала». Я полагала, это имеет какое-то отношение к фуфу, главной местной еде. Еще не знала, что на киконго не совсем говорят, скорее поют. Одно и то же слово может иметь много разных значений в зависимости от того, с какой интонацией оно произнесено: с повышающейся или с понижающейся. Когда мама Татаба тихо, себе под нос, нараспев произносила этот «гимн», она не называла нас «едоками фуфу» или «ненавистниками фуфу»

или еще кем-нибудь, поддающимся разгадке. Ее «фуфу нсала» означало живущую в лесу красноголовую крысу, боящуюся солнечного света.

Я считала себя храброй. Когда впервые подошла к кухонному домику, с порога соскользнула змея, а со стены на меня уставился тарантул, присевший на своих кривых лапках, как футболист на линии защиты. Тогда я принесла в кухню большую палку. Маме Татабе заявила, что меня с детства учили готовить, но не дрессировать цирковых животных. Одному богу известно, как она, наверное, ненавидела свою бледнокожую трусливую хозяйку, напоминавшую ей ту самую крысу. Мама Татаба не могла бы и представить электроплиту или полироль с воском для мебели. При всем своем ко мне презрении она, разумеется, даже не догадывалась, насколько я была беспомощна. Смею надеяться, знай мама Татаба об этом, она бы нас не покинула. Но она бросила наш тонущий корабль, предоставив мне опускаться с ним на дно.

Странно, но по-настоящему отвратила ее пугающая самоуверенность Натана. Он, как и я, не сомневался, что мы приехали, готовые ко всему. Однако к змеям на пороге и барабанам в лесу, призывающим конец века бедствий, подготовиться нельзя. Когда лето перешло в сезон бесконечных дождей, стало ясно: грядет беда. Меня постоянно преследовало жуткое видение смерти моих детей. Снилось, как они тонут, теряются, их съедают живьем, и я просыпалась от леденящего ужаса. Не в силах заснуть снова, зажигала керосиновую

лампу и бодрствовала в одиночестве до рассвета за большим обеденным столом, пляясь в Псалтирь, чтобы унять страх: «Господи! Возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными... Избавь меня [Господи] и помилуй меня»³³.

На рассвете я выходила пройтись. Чтобы не приближаться к реке, шла по лесной тропе. Порой вспугивала семейство слонов, пасшееся на поляне. Лесные слоны отличаются от своих гигантских родичей, бродящих по саванне: они мельче и деликатнее, разгребают розовыми хоботами покрытую листьями почву. В лучах рассвета доводилось мне видеть семейства пигмеев, мелькающих между тенями, совсем без одежды, однако увешанные ожерельями из перьев и звериных зубов, а в дождливые дни – в шляпах из листьев. Эти украшения были такими веселыми, а сами они – такими маленькими, меньше чем в половину моего роста, что я долго принимала их за детей и удивлялась, что целые толпы мальчиков и девочек гуляют в лесу одни, с ножами, копьями и младенцами, привязанными за спиной.

Вероятно, именно чтение Библии так раздвинуло границы моего сознания, что я была готова верить в самую причудливую ситуацию. Это и еще недостаток сна. Мне требовалось привязать себя хотя бы к какому-нибудь причалу, но было совсем не с кем поговорить. Я пыталась внимательно

³³ Пс. 25:8, 11.

изучать американские журналы новостей, которые присылали нам через Андердаунов, но это лишь вызывало у меня тревогу. Президент Эйзенхауэр заявлял, что все под контролем; молодой Кеннеди уверял, что Дядя Айк выдохся, достаточно посмотреть на Конго – Конго! – чтобы убедиться в слабости американского руководства, отставании в ракетной технике и серьезности коммунистической угрозы. Поклонники Элеоноры Рузвельт твердили, что мы должны оказать помощь и ввести этих несчастных детей природы в XX век. Между тем мистер Джордж Ф. Кеннан, отставной дипломат, повторял, что не чувствует «ни малейшей моральной ответственности за Африку». Это не наша забота, добавлял он. Пусть становятся коммунистами, если им так хочется.

Все это находилось за пределами моих интересов, когда на пороге моего дома таились змеи, способные умертвить ребенка своим ядовитым плевком.

Но Натан не внимал моим тревогам. С его точки зрения, наша жизнь была проста – все равно что расплатиться наличными и сунуть чек в карман: мы – под защитой Господа, говорил он, поскольку прибыли в Африку ради служения Ему. Тем не менее в церкви мы пели: «Папа Нзоло», что означает и Отец Небесный, и Отец рыбьей приманки – в зависимости от того, как произнести, и это суммировало мои сомнения. Я никогда не могла разобраться: должны ли мы воспринимать религию как жизненный страховой полис или как пожизненное заключение. Я понимаю разгневанного Бо-

га, который мгновенно подвешивает нас всех на крючки. И ласкового беспристрастного Иисуса. Но я не представляла, как эти двое уживаются в одном доме. Ты всегда ходишь по тонкому льду, не зная, который из «пап Нзоло» дома в данный момент. И где место моих девочек под такой ненадежной крышей? Неудивительно, что они далеко не всегда любили меня, – я не могла выступить вперед, встать лицом к лицу с мужем и закрыть их собою от его испепеляющего огня. Им надлежало смотреть прямо на него и ослепнуть.

Тем временем Натан полностью погрузился в спасение душ килангцев. В старших классах он играл в школьной футбольной команде миссисипского «Килдира», судя по всему, весьма успешно, и предполагал, что его победный сезон будет длиться вечно. Натан не терпел поражений или отступлений. Он был упрямым и высокомерно презирал неудачи и до того, как попал на войну и оказался в странных обстоятельствах, приведших к демобилизации. Но после этого Натана преследовали воспоминания о том, что случилось в филиппинских джунглях, призраки тысяч мужчин, которые не сумели выйти из них, и его стойкое презрение к трусости превратилось в одержимость. Трудно вообразить себе смертного человека, более несгибаемого в стремлении к своей цели, чем Натан Прайс. Теперь он был не в состоянии понять, как далеко увела его в сторону от пути навязчивая идея всех окрестить. Вождь папа Нду открыто предупреждал жителей деревни держаться подальше от церкви, поскольку белый че-

ловек хочет скормить их детей крокодилам. Вскоре даже Натану стало ясно, что обстановка требует взаимных усилий к примирению.

Однако примирение с папой Нду было слишком тяжелым крестом для него. Давая нам аудиенцию, тот сидел на стуле у себя во дворе перед домом, глядя в сторону, поправлял высокую шляпу из волокон сизаля, снимал и рассматривал большие очки в черной оправе (без стекол) и чего только не делал, чтобы продемонстрировать свое «ученое» безразличие, пока Натан держал речь. Он отгонял мух официальным атрибутом своей власти – чем-то вроде закоченевшего хвоста какого-то животного, с белой шелковой кисточкой на конце. Во время второй аудиенции Натан даже не упоминал крещение как особую программу, а предложил организовать некое окропление.

Наконец через старшего сына Нду мы получили официальный ответ, в нем говорилось, что окропление – это, конечно, хорошо, но, мол, ваш предшественник брат Фаулз растревожил старейшину сомнительными идеями о том, что мужчина не должен одновременно иметь несколько жен. Представьте, передавал папа Нду, стыдливый вид старейшины, который может себе позволить только одну жену! Вождь ожидал, что мы откажемся от подобных нелепостей, прежде чем он одобрит нашу церковь.

Дома мой непреклонный муж рвал на себе волосы. Без благословения старейшины у него не будет никакой паствы.

Натан кипел от ярости – другого выражения не подберешь. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь», – возгласил он, обращаясь к небесам и косясь на Бога с требованием справедливости. Ночью я обнимала Натана и видела, как душа его по частичкам превращается в пепел. А потом смотрела, как он возродился, но вместо сердца в груди у него теперь был камень. Больше Натан не намеревался идти ни на какие компромиссы. Объявил, что Бог испытывает его, как Иова, и главным в этой притче было для него то, что Иов не совершил ни одной ошибки, а так или иначе сломить свою волю, уступить африканским обычаям он считал ошибкой: переустроить свой огород на африканский манер, подчиниться папе Нду в вопросе о крещении в реке, вообще в чем-то прислушаться к папе Нду или даже к разглагольствованиям мамы Татабы. Все это было испытанием крепости веры Натана, и Бог остался недоволен результатом. Больше он подобной слабости себе не позволит.

На детей Натан обращал все меньше внимания. Собственно, отцом он был им теперь лишь в смысле своих профессиональных обязанностей и обращался с ними как гончар, который должен вылепить нечто из глины. Натан не различал их по смеху, не интересовался их проблемами. Не замечал, что Ада выбрала для себя нечто вроде добровольного изгнания, а Рахиль тоскует по обычной жизни, с вечеринками и грампластинками. Бедная Лия ходила за ним по пятам, как низкооплачиваемая официантка в надежде на чаевые. У ме-

ня, глядя на нее, разрывалось сердце. Я старалась при любой возможности отослать ее куда-нибудь по делу, подальше от отца. Это не помогало.

Пока намерения моего мужа выкристаллизовывались, как каменная соль, пока я была озабочена собственным выживанием, Конго дышало за завесой лесов, готовясь накатить на нас, как потоп. Моя душа была с грешниками и кровожадными, и я размышляла только о том, как вернуть маму Татабу и что нам следовало привезти из Джорджии. Я была слепа от того, что постоянно смотрела назад: жена Лота. И лишь изредка я наблюдала, как сгущаются тучи.

Чему мы научились

Киланга, 30-е июля 1960 года

Лия Прайс

Вначале мы находились в одной лодке и были как Адам и Ева. Нам пришлось учить названия всего. Нкоко, монго, зулу – река, гора, небо – все должно было называться словами, ничего для нас не значившими, возникавшими из пустоты. У всех Божьих созданий – переползают ли они тропу перед тобой или выставлены на продажу перед нашим передним крыльцом – есть имена: лесная антилопа, мангуст, тарангул, кобра, черно-красная обезьяна, которую здесь называют нгондо, gekконы, бегающие по стенам, райская птица. Нильский окунь, нкиенде, и электрический угорь, каких вытаскивают из реки. Акала, нкенто, а-ана – это мужчина, жен-

щина и ребенок. И все, что растет: франжипани, жакаранда, бобы мангванси, сахарный тростник, хлебное дерево. Нгуба – это арахис; малала – апельсины, дающие кроваво-красный сок; манкондо – бананы. Нанаси – ананас (похоже на наше название!), а нанаси мпуту значит «ананас бедняка», то есть папайя. Все это здесь растет в диком виде! Наш собственный задний двор напоминает райский сад. Я записываю каждое новое слово в тетрадь и даю себе клятву всегда помнить этот двор, когда вырасту и у меня дома, в Америке, будет собственный дом и двор. Я всему миру передам уроки, выученные в Африке.

Многому мы научились по книгам, которые оставил, уезжая, брат Фаулз: справочники млекопитающих, птиц и чешуекрылых (то есть бабочек). Учились мы и у всех, в основном у детей, кто разговаривал с нами и одновременно показывал то, что называл. Раз или два нас удивила мама, выросшая в Дикси гораздо южнее, чем мы. Когда бутоны на деревьях раскрывались и превращались в цветы, она с удивлением поднимала на них свои большие голубые глаза под черными бровями и восклицала: бугенвиллия, гибискус, райский ясень! Кто бы мог подумать, что мама знает эти деревья! И плоды – манго, гуаву, авокадо. Мы их только мельком видели прежде в Атланте, в магазине «Крегер», а теперь деревья вот они, рядом, и их экзотические дары падают прямо нам в руки! Это тоже надо запомнить, чтобы, когда вырасту, рассказывать про Конго: как плоды манго свисают на длин-

ных-длинных стеблях, похожих на электрические удлинители. Наверное, Бог пожалел африканцев за то, что повесил кокосы очень высоко на пальмах, и решил сделать так, чтобы манго им было доставать легче.

Я внимательно смотрю на все, потом моргаю, будто мои два глаза – это фотоаппарат «Брауни», делающий снимки, которые я увезу с собой. На людей я тоже так гляжу, у них есть имена, и их нужно запоминать. Со временем начинаю заходить к соседям. Ближайшая из них – несчастная калека мама Мванза, она ловко бежит, опираясь на руки. И мама Нгуза – та ходит, неестественно высоко поднимая голову из-за гигантского зоба, который угнездился у нее под подбородком, как гусиное яйцо. Папа Боанда, старый рыбак, каждое утро садится в лодку и отплывает на рыбалку в таких ярко-красных штанах, каких вы в жизни не видели. Люди носят одну и ту же одежду изо дня в день, и, в общем, по ней мы их и узнаем. (Мама говорит: если бы они захотели нас запутать, то на день бы поменялись одеждой.) В холодное утро папа Боанда надевает еще светло-зеленый свитер с белыми полосами по бокам: мускулистая грудь, совершенно мужская, и женский свитер с вырезом в форме клина! Но если подумать, откуда ему, да и кому-нибудь здесь знать, что этот свитер – женский? Откуда даже мне это известно? Из-за фасона, хотя это трудно объяснить. Интересно, а женский ли это свитер тут, в Конго?

Еще кое-что я должна добавить про папу Боанду: он греш-

ник. Прямо на глазах у Бога имеет две жены – молодую и старую. Они даже вместе приходят в церковь! Папа говорит, что мы должны молиться за всех троих, но, когда вникаешь в подробности, трудно понять, за что следует молиться. Вроде папа Банда должен оставить одну жену, но он наверняка откажется от старой, а у той печальный вид. А у молодой жены – дети, нельзя же молиться за то, чтобы отец выгнал их из дома, правда? Я всегда верила, что любой грех можно исправить, стоит лишь впустить Христа в свое сердце, однако тут все сложнее.

Не похоже, чтобы маме Боанде номер два было безразлично ее положение. Глядя на нее, можно догадаться, что она пользуется им в свое удовольствие. Она и ее маленькие дочери укладывают волосы в короткие шипы, натканные по всей голове так, что они становятся похожи на подушечки для иголок. (Рахиль называет эту прическу «Я чокнутая».) А свою кангу мама Боанда заматывает просто: оборачивает огромный кусок красной материи вокруг бедер так, что звездный рисунок оказывается на ее широкой попе. Эти длинные тряпки-юбки у женщин имеют веселые и самые пестрые узоры, никогда не знаешь, что сейчас проплывет через наш двор: уйма желтых зонтиков, или трехцветных кошек и собак в клеточку, или портретов католического папы вверх ногами.

Поздней осенью зеленые с белым налетом кусты, окружающие дома и дорожки, неожиданно оказываются пуансетти-

ями. Они раскрывают свои головки, и посреди липкого зноя звучат рождественские колокольчики. Это так же удивительно, как в июле услышать по радио «Вести ангельской внемли»³⁴. В Конго рай небесный, и порой мне хочется остаться тут навсегда. Я могла бы вечно, как мальчишка, влезать на деревья за гуавами и есть их, пока сок не потечет и не испачкает мне блузку. Но ведь мне уже пятнадцать лет. Наш день рождения в декабре застал меня врасплох. Мы с Адой запоздалые с точки зрения неприятных вещей вроде роста груди и месячных. Дома, в Джорджии, когда мои одноклассницы одна за другой, будто это была какая-то повальная болезнь, начали появляться в спортивных лифчиках, я еще коротко стригла волосы и клялась себе, что останусь девочкой-сорванцом. Притом что мы с Адой знали алгебру на уровне колледжа и читали все толстые книги, до каких только могли добраться, в то время как другие дети с трудом продирались от одного простого задания к другому. Наверное, мы рассчитывали, что всегда сумеем оставаться в том возрасте, в каком захотим. Но не более. А теперь мне пятнадцать лет, и я должна думать о том, чтобы повзрослеть и стать женщиной-христианкой.

Если по правде, то тут тоже не такой уж рай. Очевидно, мы ели не те плоды в нашем Райском саду, потому что наша семья всегда, казалось, знала слишком много и в то же время недостаточно. Когда бы ни случилось нечто значительное,

³⁴ Популярная английская рождественская песня.

мы бывали огорошены, хотя никто другой ничуть не удивлялся. Ни тому, что сезон дождей начинался и заканчивался, когда никто его не ждал, ни тому, что скромные зеленые кусты внезапно превращались в яркие пуансеттии. Ни бабочкам с крыльями прозрачными, как маленькие очочки «кошачий глаз», ни самой длинной, самой короткой или самой зеленой змее на дороге. Даже маленькие дети знали здесь больше, чем мы, и это воспринималось так же естественно, как то, что они говорили на своем языке.

Должна признать, что поначалу это меня обескураживало – слышать, как они тараторят на киконго. Удивительно, как дети, даже моложе Руфи-Майи, могут так бегло говорить на совершенно другом языке? Это было сродни тому, как порой неожиданно обнаруживалось, что Ада знает нечто чрезвычайно сложное, например, французский язык или чему равен корень квадратный из числа пи, а ведь я была уверена, что знаю все то же, что и она. Сразу после нашего приезда дети начали собираться возле нашего дома каждое утро, что нас смущало. Мы думали: уж не появляется ли у нас на крыше что-нибудь особенное вроде бабуина? Вскоре поняли, что «особенное» – это мы сами. Их привлекало к нашей семье то же, что заставляет людей вытягивать шеи, желая увидеть горящий дом или автокатастрофу. Нам не нужно было делать ничего необычного, им было интересно, как мы просто передвигались по дому, разговаривали, кипятили воду...

С моей точки зрения, в нашей жизни не было ничего любопытного. Пока мы обустроивались и в доме царил суеверия, мама дала нам несколько недель свободы от учебников, но в сентябре, хлопнув в ладоши, объявила: «Конго – не Конго, а пора вам возвращаться к учебе, девочки!» Она решительно настроена сделать из нас – причем не только из тех, кого считали одаренными, – ученых. В ее плане действий мы все скованы вместе. Каждое утро после завтрака и молитвы мама усаживала нас за стол и, тыча указательным пальцем в затылки, заставляла склоняться над учебниками (а Руфь-Майю – над ее раскрасками), насколько я понимаю, готовя нас к чистилищу. Однако единственное, на чем я могла сосредоточиться, это шум детских голосов снаружи, странные, будто посверкивающие слоги незнакомых слов. На мой слух это представлялось полной бессмыслицей, но несло в себе столько тайного подтекста. Одна загадочная фраза, выкрикнутая мальчиком постарше, могла вызвать у всей ватаги неудержимый приступ визгливого смеха.

После обеда мама предоставляла нам несколько бесценных часов свободы. Когда мы выходили, дети начинали верещать и в ужасе отбегали подальше, будто мы были ядовитыми. Но через минуту-другую снова сползались, голые, обмирающие, заинтригованные нашим обычным поведением. Скоро они собирались полукругом на краю двора и пялились на нас, жуя свои розовые палочки сахарного тростника. Кто-нибудь смелый делал несколько шагов вперед, протяги-

вал руку, пронзительно кричал: «Cadeau!» – и сразу убежал с испуганным хихиканьем. Пока это были самые близкие подступы к дружбе, каких мы достигли, – пронзительные требования подарков. А что мы могли им дать? Отправляясь сюда, мы и не думали о них, жаждавших земных благ. Мы привезли лишь то, что требовалось нам самим. Лежа в гамаке и уткнув нос в книгу, которую читала уже три раза, я просто старалась не обращать на них внимания, притворялась, будто мне безразлично то, что они глазают на меня, как на животное в зоопарке или как на вероятный объект грабежа. Дети показывали на нас пальцами и переговаривались, видимо, куражась надо мной, как над чем-то, чуждым их миру.

Мама говорила:

– Милая, но это же обоюдно. Ты умеешь говорить по-английски, а они – нет.

Я понимала, что она права, однако меня это ничуть не утешало. Говорить по-английски – ерунда. Не то что уметь называть все столицы и основные продукты производства стран Южной Америки, или читать наизусть Писание, или пройти по верху забора. Не помню, чтобы мне когда-нибудь приходилось трудиться над родным языком. Прежде я усердно старалась учить французский, но потом Ада отняла у меня этот приз, и я забросила занятия. Она знала французский за нас обеих. Хотя, не скрою, это кажется странным побуждение человека, который просто из общих соображений отказывается говорить. В любом случае там, дома, идея вы-

учить французский воображалась чем-то вроде комнатной игры. И продолжала представляться даже после того, как мы приехали сюда. Эти дети понятия не имели, что означает *je suis*³⁵ или *vous êtes*³⁶. Они говорят на языке, который бурлит и льется из их ртов, как вода в водосточной трубе. И с первого дня мне жутко хотелось знать его. Чтобы встать с гамака и крикнуть что-нибудь, от чего они разлетелись бы, как стая испуганных уток. Я пыталась придумать такую весомую резкую фразу, представляла, как выкрикиваю: «Бакабайка! Мы любим Айка!» Или вот это, из космического фильма, который я когда-то видела: «Клату барада никто!»

Я хотела, чтобы они играли со мной.

Уверена, все в нашей семье так или иначе желали того же. Играть, разумно торговаться, нести Слово, простереть руку через мертвое пространство, в каком мы были словно обложены подушками.

Руфь-Майя первой из нас нашла правильный путь.

Это никого не удивило, поскольку Руфь-Майя способна прыгнуть выше головы силой своей воли. Но кто бы мог предположить, что пятилетка сумеет установить контакт с конголезцами? Ведь ей даже не разрешалось выходить за пределы двора! Обычно следить за этим поручали мне, и я всегда наблюдала, чтобы она не свалилась с дерева и не разбила себе голову. С нее случилось бы сделать это хотя бы для

³⁵ Я есть (фр.).

³⁶ Вы есть (фр.).

того, чтобы привлечь внимание. Руфь-Майя твердо вознамерилась сбежать, и порой мне приходилось грозить ей всяческими опасностями, поджидающими ее там, снаружи. О, каких только ужасов я не придумывала! Ее может укусить змея, или один из тех парней, которые ходят мимо, играя своими мачете, легко может перерезать ей горло. Потом я всегда чувствовала себя виноватой и читала покаянный псалом: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот твоих»³⁷. Но на самом деле, при всей великой милости и множестве щедрот, Он должен понимать, что приходится немного припугнуть человека ради его собственного блага. Что касается Руфи-Майи, то тут никаких компромиссов быть не может.

Запугав ее и временно сделав послушной, я убегала выслеживать пигмеев (судя по всему, они жили в лесу, прямо у нас под носом) или обезьян (их легче засечь). Срывала плоды для Метуселы, который по-прежнему околачивался поблизости и требовал еды, либо ловила кузнечиков для Леоны, хамелеона, кого мы держали в деревянном ящике. Мама разрешила нам это при условии, что мы не занесем его в дом. Нелепо, ведь нашла я его как раз в доме. Выпученные глаза вращались во все стороны, и нам особенно нравилось, когда один из них смотрел вверх, а другой вниз. Кузнечиков, которых мы бросали ему в ящик, хамелеон ловил, выстреливая длинным языком, как из рогатки.

³⁷ Пс. 50:1.

Могла я попробовать уговорить папу разрешить мне походить за ним хвостиком. Подобная возможность была всегда: папа днями напролет бродит по деревне, стараясь завязать разговор с праздными старухами, или даже делает вылазки в соседние деревни, желая проверить тамошнее состояние благодати. На расстоянии одного дня ходьбы от нас расположены маленькие поселения, но должна, к большому сожалению, признать, что они подвластны нашему вождю-безбожнику папе Нду.

Так далеко отец не разрешал мне ходить, но я все равно пыталась уговорить его. Старалась уклониться от нудных домашних дел, которые в основном возникали по линии Рахили, если она в данный день была к тому расположена. Мое отношение к дому заключалось в том, что лучше держаться от него подальше. В общем, я часто слоняюсь на краю деревни в ожидании возвращения папы. Там, где проселок красной лентой глубоко врежется в высокую стену желтой травы, никогда не знаешь, кто выйдет тебе навстречу на пыльных ногах: чаще всего женщины, обычно несущие на голове целый мир – гигантские оплетенные стеклянные бутылки с пальмовым вином или тыквенные калebasы, покоящиеся у них на головах, как перевернутые вверх ногами шляпы, или связки хвороста, скрепленные слоновьей травой, или торчащие из эмалированных тазов груды плодов. Чувство равновесия у конголезцев невероятное.

У большинства девочек моего возраста, а то и моложе,

есть дети. Они кажутся слишком молодыми для замужества, пока не посмотришь им в лицо. Тогда заметишь: взгляд у них счастливый и печальный одновременно, но в нем нет удивления, словно они уже видели все на свете. Глаза замужней женщины. А девочки помоложе – те, что еще слишком малы для замужества, но уже выросли из того возраста, когда их носят подвязанными на спине (что существенно ограничивает обзор), – о, эти шагают, покачивая плетеными сумками за плечами, и смотрят сердито, будто хотят сказать: а ну с дороги! – не видишь, что ли, я иду! Они могут быть лишь маленькими девочками, бредущими за своими матерями, однако вы уж мне поверьте, для них это – тоже дело. Обычно девочки почти лысые, как мальчики. (Мама говорит, что это из-за недостатка белков в пище.) Но их всегда издали узнаешь по изгвазданным платьям с оборками. Несколько месяцев я не могла в себя прийти от того, как они похожи на мальчиков в платьицах. Ни девочки, ни женщины не носят брюк. Мы здесь – редкие пташки. Вероятно, они считают, что мы – кроме Рахили – мальчики, и не могут отличить нас одну от другой. Они нас называют «билези», что означают «бельгийцы»! Даже в глаза. Так и приветствуют нас: «Мботе, билези!» Женщины улыбаются, но сразу смущенно прикрывают рот рукой. Младенцы, глядя на нас, начинают плакать. Всего этого достаточно, чтобы у вас выработался комплекс. Однако мне безразлично, я слишком любознательная, чтобы прятаться в доме или томиться во дворе. Любопытство сгу-

било кошку, знаю, но я стараюсь благополучно приземляться на лапы.

Прямо в центре деревни растет огромное хлопковое дерево, вокруг него они и собираются на свой базар каждый пятый день. О, это надо видеть! Женщины сходятся сюда, чтобы торговать и чесать языками. Выносят на продажу зеленые бананы, красные бананы, горки риса и еще чего-то белого, лук и морковку или даже арахис, если нам повезет, или миски с маленькими красными помидорами, которые уродливы на вид, но высоко ценятся. Даже бутылки ярко-оранжевой газировки с сиропом, которые, наверное, притащил из самого Леопольдвилья кто-то, кому придется попыхтеть, чтобы продать их. Одна женщина торгует кубиками мыла карамельного цвета, они выглядят как нечто съедобное. (Руфь-Майя стащила один и надкусила, а потом долго ревела – не столько от того, что они оказались невкусными, сколько от разочарования. Здесь для ребенка мало сладостей.) Порой на базаре появляется знахарь с таблетками аспирина и еще какими-то красными и желтыми таблетками, а также с высушенными частичками животных. Он раскладывает их аккуратными рядами на черной бархатной подстилке. Выслушивает твои жалобы на хвори и говорит, нужно ли тебе купить таблетку или амулет на счастье или просто идти домой и обо всем забыть. Вот такой базарный день. Пока мы делали покупки только на краю базара, у нас не хватало духу углубиться в него. Но как же увлекательно смотреть на тянувшиеся в

глубину ряды и наблюдать за этими длинноногими женщинами в цветастых кангах, которые сгибаются пополам, желая разглядеть выложенные на земле товары. И за женщинами, достающими губами чуть ли не до носа, когда они протягивают руку, чтобы взять деньги. Смотришь на всю эту суету, а потом на перекатывающиеся зеленые холмы, где под раскидистыми плоскими кронами деревьев пасутся антилопы, и понимаешь, что эти два вида не совмещаются. Словно на экране одновременно показывают два разных фильма.

В другие, не базарные дни люди собираются на главной площади: уложить волосы, починить обувь или посплетничать в тени. Здесь есть портной, он ставит свою ножную швейную машинку под деревом и принимает заказы, самые простые. Другое дело прически, они на удивление сложны, тем более учитывая, что волос у женщин особо-то и нет. То, что есть, они разделяют на длинные пряди самыми замысловатыми узорами, и вскоре их головы напоминают темные шерстяные мячи, причудливо сшитые из сотен лоскутков. Если у кого-то волосы отросли на дюйм-два, парикмахер соорудит из них черные острые шипы, торчащие во все стороны, – как у мамы Боанды номер два. Процесс укладки волос обычно привлекает множество зрителей. Вероятно, местный девиз: если не можешь отрастить свои, наблюдай за чужими. Пожилые женщины и мужчины в одеждах, за долгие годы ношения и стирки приобретших цвет их собственной кожи, смотрят на работу парикмахера, жуя десны. Издали сложно

определить, есть ли на них вообще что-нибудь, кроме легкого белого налета на волосах – будто Дед Мороз легко коснулся их голов. Они кажутся старыми как мир. Любая цветная вещь у них в руках, например, пластмассовое ведро, выглядит нелепо. Их внешность никак не вписывается в современный мир.

Мама Ло – главная парикмахерша. Ее побочный бизнес – изготовление пальмового масла, она подражает мальчишек выдавливать его из маленьких красных плодов масличной пальмы в ее самодельном прессе и понемногу продает односельчанам каждый день, для жарки овощей и прочего. Мама Ло не имеет мужа, хотя исключительно трудолюбива. При здешнем образе жизни, казалось бы, какой-нибудь мужчина обязательно должен был ухватиться за нее, как за ценное для семьи приобретение. Что касается внешности, то тут не на что посмотреть – маленькие печальные глазки, сморщенный рот, который она никогда не открывает, делая прически. Состояние ее собственных волос – загадка для всех, поскольку мама Ло всегда накручивает на голову яркий кусок ткани с рисунком в виде павлиньих перьев. Эти перья совершенно не соответствуют ее личности, но так же, как папа Боанда в своем женском свитере, она, судя по всему, не обращает ни малейшего внимания на то, что выглядит комично.

Выяснилось: если я сажусь на какой-нибудь пенек на краю площади, все они рано или поздно обо мне забывают. Я люблю сидеть вот так и наблюдать за женщиной с огромной бе-

лой сумкой, такой же, с какой Мейми Эйзенхауэр могла бы ходить за покупками, которую она гордо несет на голове через всю деревню. Или за мальчишками, карабкающимися на пальму, чтобы срезать масличные орешки. Там, наверху, когда солнце окрашивает стволы пальм в красновато-коричневый цвет и мальчишки обхватывают их своими узкими бедрами, они смотрятся красиво. Словно их коснулась Божья благодать. Что бы ни случилось, они не падают с дерева. Пальмовые листья-ветви колышутся вокруг их голов, как страусиные перья.

Дважды я видела сборщика меда, он выходил из лесу, голыми руками держа брикет сотов, с которых капал мед – на них сидели столь редкие здесь пчелы! Из рта у него торчал дымящийся пук листьев – как гигантская сигара. На ходу мужчина тихонько напевал что-то пчелам, а дети бежали за ним, замороженные перспективой отведать меду, от желания поесть сладкого они дрожали и гудели, как эти насекомые.

В те редкие дни, когда Ибен Аксельрут находился в своей хижине на краю летного поля, я прокрадывалась туда и наблюдала за ним. Порой приходила и Ада, в целом она предпочитает собственное общество обществу других людей. Но мистер Аксельрут представляет собой серьезное искушение, поскольку является редкой мерзостью. Мы прятались в банановых зарослях, которые окружали его уборную, несмотря на то, что по телу ползли мурашки от того, что эти густые заросли удобрены нечистотами отвратительного чело-

века. Листья большого банана закрывают грязное заднее окно его хижины, оставляя узкие щелки, идеальные для подглядывания. Мистеру Аксельруту лень следить за подступающими к своему дому, в обычные дни он спит до полудня, а потом дремлет. Бардак у него в доме полный: ружья, инструменты, армейское обмундирование, даже какое-то радио, которое он держит в армейском сундучке. До нас доносились слабое потрескивание статического электричества и отдаленные странные голоса, говорившие по-французски и по-английски. Родители уверяли нас, будто в радиусе ста миль от нашей деревни нет ни одного радиопередатчика (они хотели завести рацию из соображений безопасности, но ни Союз миссионеров, ни сам Бог не могли нам обеспечить радиосвязь). Следовательно, они не знали о рации мистера Аксельрута, а поскольку я выяснила о ней, шпионя за ним, тоже не могла рассказать им.

Мои родители всячески старались избегать его. Наша мама была так уверена, что никому из нас не захочется даже приблизиться к его дому, что даже не потрудилась нам это запретить. Можно считать, что мне повезло. Раз никто прямо не заявил, что подглядывать за мистером Аксельрутом грех, то, надеюсь, Господь формально и не вменит мне это в вину. Шпионили же мальчишки Харди из благих намерений, и я всегда чувствовала, что действую в том же русле.

Была середина сентября, когда Руфь-Майя начала совер-

шать свои набеги. Однажды днем, вернувшись из шпионской вылазки, я нашла ее играющей в «Мама, можно?» с половиной деревенских детей. Я была ошарашена. Моя маленькая сестренка стояла в середине двора, в точке фокуса протянувшегося из конца в конец поблескивающего полукруга черных детишек, которые молча сосали палочки сахарного тростника, не смея даже моргнуть. Их взгляды были прикованы к Руфи-Майе, как солнечные лучи концентрируются в линзе. Я бы не удивилась, если бы она вдруг вспыхнула.

– Ты, вот ты. – Руфь-Майя указала на одного мальчика и подняла вверх четыре пальца. – Сделай четыре перекрестных шага ножницами.

Выбранный ею ребенок широко открыл рот и пропел на четыре ноты: «Ма-да-мо-но?»

– Да, можно, – благосклонно разрешила Руфь-Майя.

Мальчик скрестил ноги на уровне колен, откинулся назад, сделал два маленьких шажка вперед, потом еще два – прямо как краб, умеющий считать.

Я долго наблюдала за этой сценой, изумленная тем, чего добилась Руфь-Майя за моей спиной. Все эти дети уже умели делать гигантские шаги, детские шажки, приставные шаги, шаги ножницами и несколько других абсурдных движений, придуманных ею. Она неохотно позволила нам присоединиться к игре. Несколько дней, под сгущающимися облаками, все мы – включая Рахиль, которая обычно была выше этого, – играли в «Мама, можно?». Я-то пыталась предста-

вить себя в роли миссионерки, собирающей детей под свое крыло, и испытывала неловкость от того, что приходилось играть в детскую игру с ребяташками, доходившими мне до пояса. Но к тому времени мы так устали от себя самих и друг от друга, что чувствовали непреодолимую тягу к любому общению.

Вскоре, впрочем, мы потеряли интерес к игре, поскольку в ней не было никакой интриги: маленькие конголезцы на пути к победе всегда опережали нас. В своих попытках обойти других, делая приставные или еще какие-нибудь шаги, мы с сестрами забывали спросить (а Ада сартикулировать губами): «Мама, можно?», между тем как остальные дети не забывали об этом. Для них восклицание: «Ма-да-моно?» было механически затверженным первым шагом в цепочке других шагов, а не одной из формул вежливости вроде «да, мэ» или «благодарю», какие мы так часто опускали. В восприятии конголезских детишек игра вообще имела не большее отношение к вежливости или невоспитанности, чем в восприятии Метуселы, когда он поминал черта и проклинал нас. Это послужило своего рода разочарованием – увидеть, что выигрывает тот, кто знает правила, не понимая сути урока.

Однако «Мама, можно?» все-таки сломала лед. Когда остальным детям наскучило то, что Руфь-Майя командовала ими, они потихоньку слиняли, но один мальчик остался. Его звали Паскаль или вроде того, и он пленил нас своим

неистовым языком жестов. Паскаль стал моим нкунди – первым настоящим другом в Конго. Он был на треть ниже меня ростом, хотя гораздо сильнее, и, к счастью для нас обоих, у него были шорты защитного цвета. Две дыры, протертые на них сзади, открывали щедрый вид на его ягодички, но это было нормально. Я редко оказывалась прямо позади него, когда мы карабкались на деревья. В любом случае такой вид смущал меня гораздо меньше, чем просто нагота. Уверена, с полностью обнаженным мальчиком я не сумела бы подружиться.

– Бето нки тутуасала? – спрашивал он меня в качестве приветствия, и это означало: «Что делаешь?»

Это был хороший вопрос. Наше общение главным образом заключалось в том, что Паскаль называл мне все, что мы видели, и кое-что, о существовании чего я не догадывалась. Например, бангала – ядоносный сумах, который чуть не угробил нас. Вскоре я научилась различать его и не касаться гладких блестящих листьев. Еще Паскаль рассказал мне о нгонди, разновидностях погоды: мавалала – дождь, идущий вдали, который до нас не доберется. Когда гремит гром и дождь прибывает траву, это нуни ндоло, а не слишком сильный дождь – нкази ндоло. Он называл его «мальчишечьим дождем» и «девчоночьим дождем», указывая на свои и мои интимные части тела, ничуть не видя в этом ничего дурного. Были и другие «мальчишечьи» и «девчоночьи» слова, такие как «право» и «лево» – мужская рука и женская рука.

Эти уроки начались через несколько недель после того, как завязалась наша дружба. Паскаль понял, что я не мальчик, а нечто, доселе невиданное: девочка в брюках. Это его удивило, но мне не хотелось бы подробно объяснять, как это произошло. Замечу лишь, что это имело отношение к пи-пи в кустах. Паскаль быстро простил меня, и это было хорошо, поскольку друзей моего возраста и пола не предвиделось: все девочки Киланги были слишком заняты – собирали хворост, носили воду или ухаживали за детьми. Мне было любопытно, почему Паскалю можно свободно играть и бродить повсюду, а его сестрам нельзя. Пока мальчишки притворялись, будто стреляют друг в друга, и замертво валились на дорогу, все хозяйство вели, как мне казалось, девочки.

В любом случае Паскаль был чудесным компаньоном. Мы садились друг против друга на корточки, я смотрела в его широко расставленные глаза и пыталась учить английским словам: пальма, дом, бегать, идти, ящерица, змея. Паскаль правильно повторял за мной слова, но, похоже, не старался запомнить. Обращал внимание лишь на те, которые означали нечто, чего он прежде не видел, например, часы Рахили «Таймекс» с быстро бегущей секундной стрелкой. Еще ему хотелось знать, как называются волосы Рахили. «Свийет... свийет...» – повторял Паскаль, будто это было названием еды, к какой он не должен притронуться даже по ошибке. Меня только потом осенило, что нужно было сказать ему «блонд».

Как только мы подружились, Паскаль взял отцовский ма- чете и срезал для меня стебель сахарного тростника – поже- вать. Сильными, резкими взмахами порубил его на кусочки длиной с палочку для мороженого, прежде чем положить ма- чете на место, возле отцовского гамака. Привычка килангцев жевать тростник, несомненно, была причиной того, что по- чти у всех зубы превращались в черные пеньки, которые они обнажали, улыбаясь, и мама не упускала случая напомнить нам об этом. Однако у Паскаля зубы были белыми и здоро- выми, поэтому я решила попробовать.

Я заводила Паскаля в кухню, когда там не было мамы. Мы осторожно двигались в пропахшем бананами полумраке, рассматривая картинки, какие она вырезала из журналов и пришпиливала к стене. Изображенные на них домохозяйки, дети, мужчины с рекламы сигар, которых папа не одобрил бы, если бы – что сомнительно – тропа Господа когда-нибудь случайно завела его в кухню, вероятно, были для мамы ее компанией. У нее там висел даже портрет президента Эйзен- хауэра. В тусклом свете его бледная выпуклая лысина свети- лась, как лампочка, – наша замена электричеству! Но Пас- каля больше интересовали мешки с мукой, и порой он брал небольшую горстку молочного порошка «Карнейшн». Меня от этого сухого молока тошнило, а он ел с удовольствием, как конфету.

В благодарность за впервые попробованный им молочный порошок Паскаль показал мне дерево, на него можно было

взобратся и увидеть птичье гнездо. После того как мы рассмотрели птенцов с розовой кожей, он сунул одного из них в рот, как мармеладку. Похоже, вкус ему понравился. Паскаль протянул птенца и мне, чтобы я его съела. Я поняла, что он имел в виду, но отказалась. Судя по всему, он совсем не расстроился и слопал весь выводок сам.

В другой день Паскаль показал мне, как построить домик высотой в шесть дюймов. Скрючившись в тени нашей гуавы, он воткнул в землю прямые ровные палочки, потом возвел стены, оплетя пространства между палочками ободранной корой, как плетут корзины. Поплевал на землю, замесил красную глину и полностью обмазал ею плетеные стены. И наконец по-деловому зубами обкусал пальмовые листья квадратами, которыми покрыл крышу. Отойдя на несколько шагов и снова присев на корточки, Паскаль наморщил лоб и внимательно осмотрел результат своих трудов. Этот маленький домик, сделанный его руками, был и по конструкции, и по материалам точной копией дома, в котором он жил. Отличался от него лишь размером.

Меня поразило, какая пропасть лежит между нашими играми – «Мама, можно?», прятки – и его: «Найди еду», «Узнай ядовитое дерево», «Построй дом». А ведь Паскалю было не более восьми-девяти лет. У него была младшая сестра, которая, куда бы ни шла, таскала на спине брата-младенца и помогала маме полоть сорняки на маниоковом поле. Я поняла, что концепция детства не была чем-то само

собой разумеющимся. Скорее, она напоминала нечто, более-менее придуманное белыми людьми и вынесенное на передний край взрослой жизни, как оборка, пришитая к платью. Впервые я почувствовала укол гнева по отношению к папе за то, что по его милости была дочерью белого священника из Джорджии, хотя моей вины в том не было. Закусив губу, я принялась строить собственный домик под гуавой, но, не говоря уж об исключительных талантах Паскаля, мои руки двигались неуклюже, как бледные плавники моржа, выброшенного из своей стихии. От смущения меня окатило жаром с головы до ног, слава Богу, что под одеждой этого не было видно.

Руфь-Майя Прайс

Каждый день мама говорила: ты разобьешь себе голову. Но случилось по-другому. Я сломала руку.

Как это было? Я подглядывала за африканскими коммунистами-бойскаутами. Сидя высоко на дереве, я их видела, а они меня нет. На дереве росли зеленые аллигаторовы груши, или авокадо, на вкус – ничего особенного. Никто из нас, кроме мамы, не ел их, да и она их ела, лишь только чтобы вспомнить, какой был вкус у тех, что покупала в «Пиггли-Виггли», – с солью и майонезом «Хеллманс».

– Майонез? – однажды спросила я. – А какого цвета была баночка?

И мама не заплакала. Порой, когда я не могла вспомнить

что-нибудь из старой жизни в Джорджии, она плакала.

Эти коммунистические скауты выглядели так же, как обычные конголезские скауты, только совсем без обуви. Солдаты бельгийской армии имели туфли и ружья и маршем проходили куда-то прямо по нашей дороге. Папа говорил, что они демонстрируют всем конголезцам вроде папы Андру, что Бельгия все еще командует здесь. А другая армия – это были просто мальчишки, живущие поблизости. Разница сразу бросалась в глаза. Среди этих не было ни одного белого человека, и одежда у них была совсем иная: только шорты, а на ногах – у кого что есть, а то и просто босиком. На одном красовался красный французский колпак ³⁸. Ой, как же мне нравится этот колпак! На других – красные платочки, повязанные вокруг шеи. Мама объяснила, что это не бойскауты, а Молодые Му-Про.

– Руфь-Майя, солнышко, – произнесла она, – даже не приближайся к этим Му-Про. Как только видишь их – сразу беги в дом.

Мама разрешает нам играть с маленькими девочками и мальчиками, даже несмотря на то, что большинство из них голые, но только не с теми, кто с красными платочками на шее. Мботе ве! Это означает – нехорошие. Вот почему я залезла на дерево авокадо, заметив их. Мама считает, что они имеют отношение к Джимми Кроу, а это имя я слышала еще

³⁸ Головной убор древних фригийцев; мягкий закругленный колпак обычно красного цвета со свисающим вперед верхом.

дома.

По утрам мы подсматривать не можем. Мои сестры должны сидеть и учиться, а я – раскрашивать картинки и запоминать буквы. Мне не нравится учиться. Папа говорит, девочке не надо ходить в колледж – ей это как рыбке зонтик. Порой мне разрешают играть со своими животными, вместо того чтобы раскрашивать – если пообещаю вести себя тихо. Животные у меня такие: Леон и мангуст. Еще попугай. Папа выпустил попугая, потому что мы случайно научили его произносить плохие слова, но он никуда не улетает. Улетает и возвращается, хотя крылья у него есть, но это не считается: попугай слишком привык к дому и забыл, как летать и самому добывать еду. Я кормлю его кислыми лаймами с дерева дима, от которых он чихает, а я вытираю ему потом клюв – с одной стороны, и с другой. Мботе ве! Дима, димба, димбама. Мне нравится произносить всякие такие слова, они как будто смеются, вылетая изо рта. Мои сестры жалеют попугая, а я – нет. Я бы завела еще змею, если бы могла, потому что не боюсь их.

Мангуста мне тоже никто не приносил. Он просто являлся во двор и смотрел на меня. Каждый день подходил все ближе и ближе. А однажды вошел в дом и вскоре стал заглядывать туда каждый день. Меня мангуст любит больше всех. А других вообще не терпит. Лия говорит, что мы должны назвать его Рикки-Тикки-Тави, ну уж нет, он мой, и я называю его Стюарт Литтл. Так звали мышку в одной книге. Я не заво-

жу змею, поскольку мангусты убивают змей. Стюарт Литтл убил одну возле нашей кухни, и это оказалось хорошо, потому что мама теперь разрешает ему заходить в дом. «Димба» означает – «слушай»! Слушай, Бастер Браун!³⁹ Та змея возле кухни была коброй, они плюются ядом прямо в глаза. Ты слепнешь, а она после этого вернется в любое время, когда ей захочется, и укусит тебя.

Хамелеона можно обнаружить где угодно. Лия чаще всего находит его у себя в постели. Большинство животных остаются всю жизнь того окраса, который дал им Господь, а Леон делается такого цвета, какого пожелает. Мы берем его в дом, когда мама и папа в церкви, а однажды положили его на мамино платье, чтобы посмотреть, что произойдет, и он сделался цветастым. Если Леон вырывается, то убегает и прячется где-нибудь в доме, и тогда – Господи Иисусе! – его не найти! Венда мботе – пока, привет и аминь! В общем, мы держим его снаружи в ящике величиной с книжку комиксов. Если пощекотать Леона палочкой, он становится черным в крапинку и подает голос. Мы проделываем это, чтобы показать ему, кто здесь хозяин.

В тот день, когда я сломала руку, ожидали прибытия мистера Аксельрута. Папа сказал, что, хвала Господу, он появится вовремя. Но когда мистер Аксельрут узнал, что нам

³⁹ Персонаж газетных комиксов, младший школьник, отличающийся весьма озорным и вредным характером.

нужно в Стэнливилль, то сразу опять взлетел и направился в сторону реки или еще куда-то, и никто не знал, вернется ли он завтра.

– Ну что за человек! – воскликнула мама.

А папа:

– Ты сначала объясни мне, что ты делала на дереве, Руфь-Майя?

Я ответила, что Лия должна была следить за мной, так что я не виновата. А на дереве пряталась от парней Джимми Кроу.

– Ради всего святого, – произнесла потом мама, – почему ты вообще оказалась на улице, когда я велела тебе бежать в дом, как только ты их увидишь?

Она боялась спросить это при папе, ведь он мог выпороть меня, несмотря на сломанную руку. Мама сказала ему, что я агнец Божий, произошел несчастный случай, и отец меня не выпорол. Пока. Может, когда рука заживет, еще выпорет.

Рука ужасно болела. Я не плакала, но держала ее неподвижно, прижав к груди. Мама сделала мне перевязь из куска материи, которую привезла для того, чтобы шить простыни и крестильные платяица для африканских девочек. Пока мы ни одной не покрестили. Окунаться для этого в реку? Ну уж нет, спасибо! Там крокодилы!

Мистер Аксельрут вернулся на следующий день около полудня, и несло от него, как от гнилых фруктов. Мама сказала, что еще один день можно подождать, если мы хотим при-

лететь на место живыми.

– Слава Богу, что это лишь перелом кости, а не змеиный укус.

Пока мистер Аксельрут сидел в своем самолете, ожидая, когда ему полегчает, конголезские женщины подошли к нему с большими мешками маниока на головах, и он дал им денег. Они закричали и замахали руками, получив деньги. Папа объяснил, это потому, что он срезал у них по два цента с доллара, но здесь даже нет настоящих долларов. Они используют свои розовые деньги. Многие женщины особенно громко кричали на мистера Аксельрута и ушли, не отдав ему свой товар. Вскоре мы сели в самолет и полетели в Стэнливилль: мистер Аксельрут, папа и моя сломанная рука. Я была первой из сестер, кто сломал настоящую кость, а не палец на ноге. Мама хотела полететь вместо него, поскольку для папы я была потерей времени, а если бы полетела и она тоже, мне пришлось бы сидеть у нее на коленях. Я тоже сказала ему, что не хочу отнимать у него времени. Но куда там! Отец решил, что ему нужно сходить в Стэнливиле на одну улицу, и он полетел, а мама осталась. Хвост самолета был так забит мешками, что мне пришлось сидеть на них. Там были большие колючие коричневые мешки с маниоком и бананами и маленькие матерчатые сумки с чем-то твердым. Я заглянула в них: камни. Нечто блестящее и грязные камни. Мистер Аксельрут объяснил папе, что в Стэнливиле продукты ценятся на вес золота, однако в матерчатых сумках золота не было.

Нет, сэр, это алмазы. Я это поняла – не знаю как. Даже папа не догадывался, что мы летим в самолете с алмазами. Мистер Аксельрут заявил: если я кому-нибудь проболтаюсь, Бог сделает так, что мама заболит и умрет. Поэтому я молчала.

Я заснула, а потом снова проснулась в самолете, мистер Аксельрут рассказывал про то, что было видно внизу, на земле: бегемоты в реке, слоны, бегущие по джунглям, – целое стадо. Лев возле воды, поедая свой добычу: голова у него поднималась и опускалась, как у нашей кошечки в Атланта. Он сказал, что там, внизу, живут и маленькие люди, их называют пигмеями, но их никогда не заметишь. Может, потому, что они слишком маленькие?

– А где зеленые змеи мамбы? – спросила я.

Я знала, что они живут на деревьях, могут упасть тебе прямо на голову и убить, и мне хотелось увидеть хотя бы одну.

– Никто на свете не умеет прятаться лучше, чем зеленая мамба. Она всегда приобретает цвет того, на чем лежит, – объяснил он. – Ты можешь стоять рядом с ней и не увидишь ее.

Мы благополучно приземлились на траву. В небе ухабов было больше, чем на траве. Больница находилась в огромном доме, в ней было много белых людей и других, но тоже в белых халатах. Белых людей было столько, что я их даже забыла сосчитать. Я уже целую вечность не видела никаких белых, кроме нас самих.

– Что эта симпатичная пасторская дочь делала на дере-

ве? – спросил доктор.

У него были желтые волосики на руках, большое лицо, и говорил он, как иностранец. Но доктор не стал делать мне укол, поэтому я к нему хорошо отнеслась.

– Это как раз то, что мы с ее матерью желали бы знать, – усмехнулся папа.

А я ответила, что не хотела, чтобы кто-нибудь бросил меня в большую кастрюлю и съел, поэтому мне пришлось спрятаться. Доктор улыбнулся. Потом я сказала ему серьезно, что пряталась от Джимми Кроу, и доктор посмотрел на папу.

– По деревьям лазают только мальчишки и обезьяны, – произнес он.

– У нас в семье нет мальчиков, – сообщила я.

– И обезьян тоже, полагаю? – рассмеялся доктор.

Они с папой побеседовали о каких-то своих мужских делах. Врач удивился, узнав, что ребята Джимми Кроу появляются у нас в деревне. Он не так хорошо говорил по-английски, как мы, произносил «я не мочь» вместо «я не могу», «они есть» вместо просто «они» и так далее. Спросил у папы, слышали ли в Киланге про Патриса Лумумбу, и папа ответил:

– Мы редко их видим. Порй слышим, как они практикуются в стрельбе.

– Помогай нам Господь!

– Ну конечно, Господь нам поможет! Он пошлет нам свою божественную милость, как рабам своим, выполняю-

щим важнейшее дело.

Доктор нахмурился: мол, извините, но я не согласен. Он называл моего папу «преподобным».

– Преподобный, Бельгия очень ценит миссионерскую деятельность, но тут требуется чертова уйма социальных служб.

Да, он произнес слово «чертова»! Я затаила дыхание и стала слушать.

– Позвольте, доктор, но я не социальный работник. Многие из нас делают карьеру, а некоторые следуют призванию. Моя работа заключается в том, чтобы освещать путь к спасению во тьме.

– Спасение, как бы не так!

По тому, как дерзко доктор ответил папе, я поняла, что этот человек – грешник. Мы смотрели, как он замешивает белый гипс и выкладывает его на полоски бинта. Я надеялась, что они не подерутся с моим отцом. Но если подерутся, мне хотелось бы это увидеть. Однажды я наблюдала, как папа ударил человека, который отказался славить Бога.

Не поднимая головы от моей руки, врач произнес:

– Мы, бельгийцы, сделали из них рабов и лишали их рук на каучуковых плантациях. Теперь вы, американцы, используете их как рабов в рудниках и позволяете им самим лишаться рук. А вы, мой друг, пристаёте к ним со своим «аминь» и пытаетесь научить бить поклоны.

Говоря об этих людях, лишившихся рук, врач накладывал гипс на мою: оборачивал и оборачивал ее бинтами с белой

замазкой до тех пор, пока бинты не закончились, а моя рука стала похожа на сосиску в булочке. Я радовалась, что никто не собирается лишить руки меня. Потому, наверное, что Иисус сотворил меня белой.

– Гипс будет тебе мешать, – сказал он мне, – но через шесть недель мы его снимем.

– Хорошо, – кивнула я. На белом рукаве его халата запеклась кровь. Чья-то чужая.

Однако папа еще не закончил спор с доктором. Он подпрыгивал то на одной, то на другой ноге и кричал:

– Бить поклоны – моя работа! А чему тут поклоняться – не вижу! Бельгийцы и американцы принесли в Конго цивилизацию! Американская помощь станет спасением для Конго. Обязательно!

Доктор держал мою руку обеими ладонями, как большую кость, и проверял, как у меня сгибаются пальцы. Потом, не глядя на папу, поднял желтые брови и произнес:

– А скажите, преподобный, цивилизация, которую бельгийцы и американцы принесли сюда, это что?

– Как что? Дороги! Железные дороги...

– А! Понимаю. – Доктор наклонился, посмотрел мне в лицо и спросил: – Папа привез тебя сюда на машине? Или вы приехали в поезде по железной дороге?

Какой умник! Мы с папой ему не ответили. В Конго ни у кого нет никаких машин, и он это знал.

Доктор встал, стряхнул белую кашицу с ладоней, и я дога-

далась, что он закончил с моей рукой. Как бы ни хотел папа спорить с ним, доктор открыл нам дверь.

– Преподобный, – обратился он к отцу.

– Сэр?

– Я не люблю препираться, но единственные дороги, которые бельгийцы построили тут за семьдесят пять лет, необходимы им для того, чтобы вывозить алмазы и каучук. Вряд ли местному населению нужно спасение, которое несете ему вы. Я думаю, что им нужен Патрис Лумумба, новая душа Африки.

– В Африке миллионы душ, – заявил отец. А уж он должен это знать, потому что приехал сюда спасти их все.

– Да, это так! – Доктор, выглянув в коридор, снова закрыл дверь – мы продолжали оставаться в его кабинете – и, понизив голос, добавил: – И половина из них прибыла сюда, в Стэнливилль, на прошлой неделе, чтобы приветствовать своего папу Лумумбу.

– Папу Лумумбу, который, как я слышал, – всего лишь бо-соногий почтовый служащий. Он даже в колледже не учился.

– Это правда, преподобный, но этот человек обладает такой способностью вести за собой толпу, что, похоже, не нуждается в обуви. На прошлой неделе Лумумба целый час говорил о ненасильственном пути к независимости. Толпе так это понравилось, что она пришла в неистовство и убила двенадцать человек.

Доктор повернулся к нам спиной и стал мыть руки в тазу и

вытирать их полотенцем, как наша мама после мытья посуды. Потом он вернулся к нам, минуту внимательно смотрел на мою руку, после чего снова обратился к папе. Сказал, что во всей этой стране есть лишь восемь человек, учившихся в колледже. Нет ни одного врача или офицера – конголезца, поскольку бельгийцы не позволяли им получать образование.

– Преподобный, если вы ищете новых конголезских лидеров, то не трудитесь заглядывать в школы. Посмотрите лучше в тюрьмах. Мистер Лумумба попал туда после беспорядков, случившихся на прошлой неделе. К тому времени, как он выйдет оттуда, думаю, у него будет больше последователей, чем у Иисуса.

Ну и ну! После этого мой папа и в грош не будет ставить доктора. Сказать, будто что-то лучше, чем Иисус, – тяжкий грех. Папа поднял голову к потолку, затем взглянул в окно, стараясь сдержаться, чтобы не разбить что-нибудь, пока доктор открывал дверь. Нам пора было уходить. Под потолком висел абажур в виде миски, наполовину набитой чем-то темным, как чашка – кофейной гущей, только в абажуре лежали мертвые жуки. И я понимаю почему. Они обожают слетаться на свет, ведь свет – это так красиво, а потом оказываются в ловушке.

Я знаю, какие они на ощупь: как ресницы, если прикоснуться к их кончикам.

Когда мы вернулись домой, моим сестрам пришлось по-

давать мне еду и помогать одеваться. И это было самое приятное во всей этой истории. Я показала Лие, где можно сидеть на аллигаторовой груше, и она подсадила меня. Лихо лазать по деревьям я могла и с одной рукой. В основном мне приходилось играть с Лией, поскольку остальные члены семьи или имели какой-то недостаток в теле, или были слишком взрослыми для игр.

Там, на дереве, я сказала:

– Мистер Аксельрут пьет красный виски. Он у него лежит под сиденьем в самолете. Я выкатила бутылку ногой, а потом закатила обратно, когда мы летели.

Я была самой младшей, но мне было что рассказать.

Бельгийскую армию ждать не нужно. Они всегда заявляются в одно и то же время. Сразу после обеда, когда еще не начался дождь и женщины со своими ведрами и другими вещами уже ушли к реке или в поле, а мужчины спят дома. В деревне тихо. Солдаты идут маршем на дороге и поют песню по-французски. Один белый у них главный, а остальные должны кричать ему в ответ, потому что они – племя Хама. Но – ничего себе! – должна заметить, что у них у всех есть туфли. Они тяжелым шагом топают по дороге, затем оставливаются так неожиданно, что пыль оседает им на ноги.

Парней Джимми Кроу увидеть труднее. Они не любят бельгийскую армию, поэтому прячутся. Появляются порой и устраивают собрания позади курятника. Садятся на корточки и слушают своего главного, а руки и ноги у них такие

тошие, что можно увидеть форму костей. И никакой обуви. Лишь какая-то шелудивая белая пыль на ступнях, и у всех черные болячки и шрамы. Каждый шрам хорошо виден. Мама говорит, что шрамы на их коже – не то что у нас, ведь их кожа – это карта всех горестей их жизни.

Мы ждали, чтобы подсматривать за ними, позади курятника, когда они появились. Лия передала мне, что ей говорила мама, а маме миссис Андердаун – даже не смотреть на них, если они придут. Они намерены взять власть над страной и скинуть белых.

– Как мне хочется такой же красный колпак! – воскликнула я.

– Ш-ш-ш, заткнись! – прошипела Лия, но сообразив, поняв, что «заткнись» прозвучало обидно для меня, добавила: – Мне тоже. Замечательная красная шапка.

Парни закричали:

– Патрис Лумумба!

Я объяснила Лие, что это новая душа Африки, его посадили в тюрьму, и Иисус ужасно рассердился из-за этого. Я ей все рассказала! Пусть я самая младшая, зато знаю. Я лежала за суком дерева так неподвижно, что меня было не отличить от него. Как зеленая змея мамба. Ядовитая. Я могла находиться прямо рядом с вами, и вы бы этого не заметили.

Рахиль

Ура, аллилуйя, тащите боеприпасы! Гость к обеду! Кста-

ти, официальный холостяк, у которого, насколько мне известно, нет ни трех, ни даже одной жены. Анатолий, учитель, двадцати четырех лет, пока со всеми пальцами, обоими глазами и обеими ногами, по здешним представлениям – предел мечтаний. Он, разумеется, не в моей цветовой гамме, но даже если бы я была конголезкой, боюсь, мне пришлось бы сказать: спасибо – нет. У него лицо в шрамах. Это не следы от ран, а тонкие линии – такие тут наносят специально, вроде татуировки. Я старалась не глядеть, но как было не подумать: каким образом им удастся наносить эти порезы так симметрично? Чем они пользуются, ножом для пиццы? Пучки линий, тонких, как волосок, и идеально прямых, тянулись от середины носа к ушам, словно рубчики на черной вельветовой юбке, скроенной по диагонали, со швом посередине. Здесь, в деревне, такого не увидишь, но Анатолий не из этой деревни. Он тоже конголезец, да, однако у него другие глаза, немного раскосые, как у сиамцев, а взгляд более умный. Нам всем приходится прилагать усилия, чтобы не пялиться. Вот он сидит у нас за столом – гладкие стриженные волосы, обычная желтая рубашка с пуговками на воротничке, умные карие глаза, нормально моргающие, когда он слушает тебя, – но эти нервирующие шрамы! Они придают ему загадочный вид человека, якобы скрывающегося от закона. Я украдкой бросала на него взгляды поверх тарелки с антилопьем мясом и затхлыми картофельными шариками, что, наверное, свидетельствует о том, насколько я отвыкла от мужского обще-

ства.

Анатолий говорит по-английски и по-французски и в одиночку «ведет» всю школу. Шесть раз в неделю по утрам шумная толпа маленьких босоногих мальчишек из нашей деревни и из соседней приходят «грызть гранит науки». Только мальчишки, и то не все, поскольку большинство родителей не одобряют изучения французского языка и вообще чужеродного. Но когда эти немногие счастливицы появляются, Анатолий строит их в колонну – от самых маленьких до самых больших. Если вам в этот рассветный час доведется оказаться поблизости, чего я стараюсь избегать, то вы можете сами увидеть, как это происходит. Каждый мальчик стоит, положив руку на плечо впереди стоящего, и образуется целый склон из рук. Ада их даже зарисовала. Учитывая, что у моей сестры проблемы с головой, она назвала рисунок «Наклонная плоскость мужчин».

Выстроив детей, Анатолий ведет их в церковь, чтобы вбивать им в головы цифры, французский язык и всякое другое. Однако они усваивают это лишь до определенного уровня. Если дети и не утрачивают интереса к учебе годам к двенадцати, то в этом возрасте их образование все равно заканчивается раз и навсегда. Это нечто вроде закона. Представьте: никакое образование после двенадцати лет не разрешено. (Я бы не возражала!) Миссис Андердаун нам говорила, что политика бельгийцев заключается в том, чтобы отваживать конголезских мальчишек от дальнейшего образования.

Девочек, естественно, тоже, поскольку они здесь предназначены для того, чтобы рожать детей начиная лет с десяти и до того времени, когда их сиськи станут плоскими, как олады. Поверьте, никому тут дела нет до этих столь важных для нас дипломов. Тем не менее вот вам Анатолий – говорит по-французски, по-английски, на киконго и на каком-то там родном языке, плюс знает достаточно для того, чтобы вести все школьные предметы. Вероятно, в свои короткие школьные годы он был очень трудолюбив.

Анатолий родился неподалеку от Стэнливила, но мать умерла, когда он был еще в нежном возрасте, и его отправили работать на каучуковую плантацию возле Кокилхэтвила, где у него было больше возможностей, как хороших, так и плохих, как он сам выразился, за обедом излагая нам автобиографию. Поработал Анатолий и на алмазных копях на юге, в Катанге, где добывается четверть всех алмазов в мире. Когда он говорил об алмазах, я, разумеется, представила Мэрилин Монро в длинных перчатках, произносящую сложенными бантиком губами: «Бриллианты – лучшие друзья девушки». Мы с моей лучшей подругой Ди Ди Бейкер однажды сбежали на дневное представление, в котором участвовали Мэрилин Монро и Бриджит Бардо (папа – руку даю на отсечение – убил бы меня, если бы узнал), так что я кое-что знаю о бриллиантах. Но глядя на сморщенные коричневые костяшки пальцев Анатолия и его розовые ладони, я представляла, как такие руки выкапывают алмазы из конголез-

ской земли, и думала: да-а-а, интересно, знает ли хоть Мэрилин Монро, откуда они берутся? Мысленно соединив ее в длинном шелковом платье и конголезца-рудокопа в одной вселенной, я разнервничалась и решила больше об этом не думать.

Я принялась изучать своеобразное лицо Анатоля со шрамами. Конечно, тут или, во всяком случае, там, где он жил раньше, считалось, что они украшают мужчину. В здешней округе, похоже, люди в качестве украшения удовлетворялись теми шрамами, какие нанесла им сама жизнь. Плюс причудливые женские прически, а про них – Боже милостивый! – лучше не вспоминать.

Однако Анатолий не был местным, и этим объяснялось то, что он не жил, как все тут, с отцом, матерью и полутора тысячами двоюродных братьев и сестер. Мы уже выслушали ту часть его биографии, из которой следовало, что он сирота. Андердауны взяли Анатоля в свой проект, потому что его семью убили каким-то ужасным образом, – они любили на это намекать, но никогда не объясняли, что конкретно случилось. Еще живя здесь, в деревне, Андердауны слышали об Анатоле от других миссионеров, забрали его со знаменитых алмазных копей, научили любить Иисуса Христа, а также читать и писать. А вскоре сделали учителем. Папа говорит, что Анатолий – «наш единственный союзник здесь»; мне это и так совершенно ясно, но такого папиного мнения оказалось достаточно, чтобы пригласить его к нам на обед.

Как минимум, это вселило в нас надежду на что-нибудь, кроме чудесных мертвых животных, которых мы обычно едим, и пробудило у мамы бешеную активность. Она сетовала, что не представляет, как накрыть приличный стол. Мама приготовила мясо антилопы и попыталась пожарить бананы, но они превратились на сковородке в нечто вроде черного клея из лошадиных копыт. Чтобы компенсировать качество еды, она застелила стол белой скатертью и подала свои жалкие жареные бананы в фарфоровом блюде с незабудками, которым так гордилась, – это была ее единственная красивая вещь во всем старом хламе, среди какого мы жили. И я бы сказала, что мама постаралась быть любезной хозяйкой. Во всяком случае, Анатолий осыпал ее комплиментами, из чего следовало, что он – либо вежливый молодой человек, либо больной на голову.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.